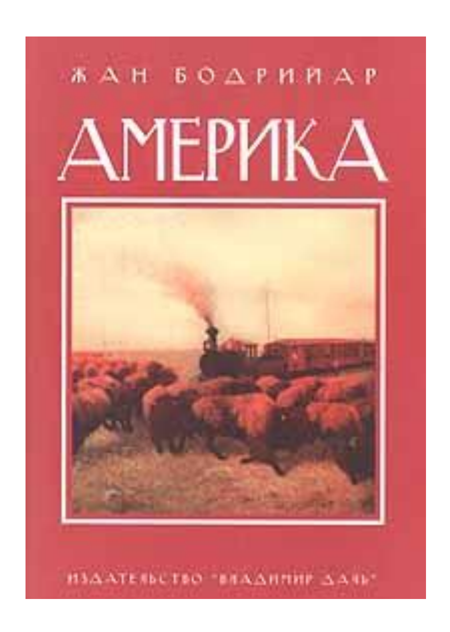
Жан Бодрийяр
Америка



Владимир Даль; 2000
ISBN 5-93615-008-9

Жан Бодрийар
Америка

Б. В. Марков
ПОСЛЕ ОРГИИ

Жан Бодрийяр родился в 1929 в Реймсе. Профессор социологии в университете Париж-Нантер, редактор журналов «Utopie», «Traverses». Переводил сочинения Б. Брехта. Публикации: в 1968 "Система вещей (есть на русском языке), La Societe de Consommation (1970), Le Miroir de la Production (1973), L'echange Symbolique et la Mort (1976), Oblier Foucault (1977), L'effet Beaubourg (1977), Le P.C. ou les paradis artificiels du politique (1978). Наиболее яркие сочинения последнего десятилетия — "Год 2000 может не наступить" (1990), "Прозрачность зла" (1990).

«Америка» (1986) — философско-художественное эссе о современности, главной особенностью которой является создание все более искусственной среды обитания, в которой человек уже не страдает от тяжелого труда, болезней, голода, насилия, войн и даже не переживает тяжелых душевных конфликтов. В Америке все молоды, здоровы, непрерывно едят и широко улыбаются, по ночам там не гасят огни, радио и ТВ работают 24 часа в сутки. Американцы совершенны как боги: благодаря спорту, аэробике, медицинским препаратам, лицевой хирургии они могут конструировать свою внешность, которая раньше была дана как судьба. Бодрийяр восхищен Америкой, правда, отдельные облака на ее чистом небе смущают его. В "Прозрачности зла" он пытается философски осмыслить то, что увидел в Америке, и осознает, какую цену пришлось заплатить за этот рай. Он далек от снобизма европейских интеллектуалов, считающих обывателей постиндустриального общества тупыми конформистами. На самом деле апатия по отношению к политике, сексу и искусству является признаком освобождения от ложных кумиров. Настоящая опасность связана с тем, что созданное усилиями многочисленных специалистов общество, в котором, кажется, больше нет никаких форм зла, на самом деле очень неустойчиво и уязвимо. Не только внешняя угроза может нарушить равновесие, внутри системы зарождаются новые опасные

вирусы, перед которыми бессильны люди, вскормленные искусственной пищей. Это не медицинская, точнее, не только медицинская проблема. Речь идет о том, что за фасадом лозунгов, пацифизма, демократии, экологии, здоровья, нравственной чистоты, бесконфликтной коммуникации скрываются реактивные формы зла. В обществе ощущается явный дефицит сострадания. Автономные, самодостаточные и самодовольные индивиды проявляют неожиданную жестокость и даже тягу к убийству. Наконец, откуда и как возможен в демократическом обществе расизм и терроризм, почему в сбалансированных системах общества в экономике, технике, компьютерных сетях происходят сбои, последствия которых оказываются гораздо более значительными по сравнению с естественными катастрофами? Не является ли тогда теория катастроф, может быть, самым важным созданием современных специалистов? И не должны ли гуманитарии дополнить эту системную модель новыми «человеческими» параметрами? Обычно они учитываются как субъективный фактор: опасные страсти и желания людей, нарушающие функционирование отлаженных машин. Но на самом деле опасность идет не столько от «натуральных», сколько от искусственно культивированных желаний.

В "Забыть Фуко" Бодрийяр сначала, может быть, по причине критического отношения к популярному философу приходит к подозрению относительно сексуального освобождения. Отказ от ограничений и запретов привел к тому, что все стало сексуальным, и от этого секс как бы растворился и исчез. Энергия либидо, о воспроизводстве которой очень заботился Фрейд (называвший свой подход "топико-экономическим"), оказалась попусту растраченной и перестала питать культуру. Позже, наблюдая изменение антропологического вида и сексуальных ориентации у молодежи, Бодрийяра осенило: мы стали транссексуалами, «полыми» или, точнее, бесполыми людьми, занимающимися сексом исключительно знаково и механически.

Может показаться, что транссексуальное, трансэстетическое и трансполитическое — это благо. Люди перестали считать секс и политику главными проблемами, освободились от "зова пола", от власти идей и тирании вождей. Они лишились как полового, так и государственного инстинкта. Родина, мать, жена, дети — все это перестало быть чем-то, что раньше люди берегли и защищали преданно и безрассудно.

Конечно, Бодрийяр несколько "сгущает краски", когда говорит о нежизнеспособности постиндустриального общества. Действительно, там происходит, как говорили раньше, «отмирание» частной собственности, семьи и государства. Государственные границы становятся прозрачными, политика уже не связывается с интересами нации, стирается роль столиц, идет децентрация мира. Благодаря современным средствам связи можно из российской глубинки повлиять на курс доллара и вызвать обвал на бирже в Нью-Йорке и точно так же можно эффективно создавать и продвигать на мировой рынок, например, русскую литературу, проживая в Америке или в ином самом затерянном уголке мира. Деньги больше не зарабатываются тяжелым трудом, люди практикуют обмен супругами и могут даже изменить свой пол. Но это вовсе не означает упадка западного общества. Наоборот, его границы расширились. Мир становится единым целым, связанным компьютерной сетью. Люди читают одни и те же газеты, смотрят ТВ, которые уже не являются рупорами государства. Но это не значит, что, например, в рамках ЕС Франция, Германия и иные страны исчезли, растворились. Нет, они даже упрочились, но иными средствами. Точно так же на распад семьи западное общество реагирует новыми формами поддержки и воспитания детей.

Так и в России, прежде чем что-то разрушать, необходимо найти новую форму единства. Да, Россия должна измениться прежде всего для того, чтобы сохраниться. Но прежде чем стать "открытым обществом", мы должны найти свое место в мире. По идее, наши экономисты тоже могли бы вызывать валютные кризисы за рубежом. К сожалению, сегодня цена рубля зависит уже не только от нашего труда и природных богатств. Сколько он стоит "на самом деле", определяет игра на бирже, причем вовсе не в России. Точно так же, в принципе, хотелось, чтобы русская культура лидировала, ибо культурный капитал

оценивается сегодня как один из самых прибыльных. Но Россия не является местом его производства. Пока ее границы являются, так сказать, «полупроводниковыми»: мы открыты для Запада, а он закрыт для нас. Книга Бодрийяра интересна как предупреждение не столько западному, сколько нашему российскому обществу. Мы должны хорошо представлять себе цену, которую придется заплатить за вестернизацию, и основательно продумать "смену курса".

Ответственность перед современностью

Вопрос, "что нам делать сегодня?", вовсе не является чисто русским. Любой честный интеллектуал всегда думает и говорит именно об этом, хотя наше время не способствует постановке вопросов о смысле и цели бытия. Оно даже препятствует такого рода вопросам, хотя и по-иному, чем прежде. Если раньше главным душителем свободы выступала государственная власть, заинтересованная в самосохранении, то сегодня конформистская система порядка существует до или помимо власти. Она определяется континуальным процессом циркуляции товаров, знаний, сексуальности, в котором человек функционирует, не испытывая вызывающего резкий протест давления чуждых ему сил. Иначе говоря, раньше человек испытывал влечения, имел натуральные потребности и сталкивался с сильными препятствиями на пути их реализации в форме простой нехватки или запрета. Сегодня, особенно в развитых странах, порядок проник на уровень самих потребностей, при этом они не подавляются, а стимулируются. Но парадокс в том, что раз нет запретов, человек уже не испытывает влечений. Нет никакого конфликта между «хочу» и «можно», и таким образом пропадает очевидный, непосредственно переживаемый каждым опыт столкновения с чуждой силой. У Фрейда, в отличие от Маркса, инстанцией порядка выступало не бытие, а сознание, эксплуатирующее энергию либидо. Лакан отметил трансформацию авторитетной инстанции, в качестве которой у Фрейда выступала фигура Отца, в форму символического: Другой — это язык. Отсюда на передний край взамен классовой борьбы выступает тонкая разновидность "критики идеологии" — когнитивный психоанализ. Но и такая форма протеста нам уже не дана. Сексуальное освобождение, в реализацию которого нынешнее старшее поколение вложило немало усилий, привело к неожиданному результату — исчезновению сексуального влечения. Сексуальность, перешагнувшая свои искусственно и насильственно удерживаемые извне границы супружеской спальни, широким потоком хлынула на улицы, на эстраду, на экраны. Все стало сексуальным, и это окончательно истощило либидо, приблизив еще на шаг к идеалу восточной нирваны, который на самом деле представляет собой радикальную угрозу деятельному Западу. Учение Фрейда, как и Маркса, тоже подчинилось судьбоносной формуле: "хотели как лучше, а получилось как всегда". Сначала «растворился» рабочий класс, а потом и сами «мужчины» и «женщины», боровшиеся за эмансипацию.

Одномерный человек

В своей знаменитой книге Маркузе, идеи которого, как показывает сравнительный анализ, развивают многие современные интеллектуалы, охарактеризовал современность как удивительное единство противоположных групп, классов, поколений, полов, которые от века вели войну не на жизнь, а на смерть. Власть всегда угнетала и обманывала, и люди это знали гораздо лучше интеллектуалов. Поэтому критика идеологии, ставшая делом профессиональной интеллигенции, не так уж эффективна. Не случайно Маркс заявил о конце критики и о необходимости практического изменения тех условий, которые порождают и воспроизводят иллюзорные формы сознания.

Очевидная общественная ситуация XIX столетия, взрывоопасным элементом которой была поляризация буржуазии и пролетариата, радикально изменилась в XX веке, когда они стали сближаться настолько, что заговорили о «растворении» рабочего класса. Конечно и

сегодня существует множество людей, которые недовольны тем, что имеют, и завидуют более состоятельным согражданам. Однако со времен средневекового государства, объединяющего людей состраданием и прощением, никогда не было общих интересов, ради которых различные классы могли бы преодолеть враждебность. С чем же связано затухание классовых битв, под знаком которых прокатились XIX и начало XX столетия? Несомненно, повышение образа жизни достигло такого уровня, что разница между богатыми и бедными значительно сгладилась. Демократия сблизила массу и власть, а политика перестала интересовать население. Но главное достижение XX века состояло в том, что люди стали настолько ценить свое благополучие, что согласны платить за него любую цену вплоть до отказа от свободы. В этих условиях критика идеологии потеряла поддержку снизу и пришла в забвение. Если раньше она запрещалась сверху и, наоборот, поддерживалась со стороны угнетенных, то сегодня она ассимилирована властью и не вызывает поддержки у тех, кто обманут. Люди перестали ощущать давление власти еще потому, что она изменила свою форму. Фуко называл современную власть «биовластью», определяя ее как заботу о жизни. Действительно, сегодня порядок поддерживается не столько угрозами и наказаниями (применяемыми для устрашения той части населения, до которого не доходит "этика дискурса" и поэтому возникает необходимость помочь истине кнутом), сколько советами и рекомендациями о разнообразной, здоровой и длительной жизни. Кто может бросить камень в институт советников и экспертов, озабоченных благосостоянием и оздоровлением людей?

Маркузе называет современную форму власти инструментальной. "Технический прогресс, охвативший всю систему господства и координирования, создает формы жизни (и власти), которые по-видимости примиряют противостоящие системе силы, а на самом деле сметают или опровергают всякий протест во имя исторической перспективы свободы от тягостного труда и господства. Очевидно, что современное общество обладает способностью сдерживать качественные социальные перемены, вследствие которых могли бы утвердиться существенно новые институты, новое направление продуктивного процесса и новые формы человеческого существования. В этой способности, вероятно, в наибольшей степени заключается исключительное достижение развитого индустриального общества; общее одобрение Национальной цели, двухпартийная политика, упадок плюрализма, сговор между Бизнесом и Трудом в рамках крепкого Государства свидетельствуют о слиянии противоположностей, что является как результатом, так и предпосылкой этого достижения".[1] Поскольку марксистская программа устранения условий ложного сознания не удалась по причинам достижения эффективных форм общественного согласия на основе повышения благополучия как в капиталистическом, так и в коммунистическом мирах, постольку возникает мысль о смене критического проекта. Но прежде всего необходимо обосновать его необходимость, а главное — социальную базу. Зачем разрушать такое "хорошее общество", где гражданам обещают на словах и постепенно реализуют на практике вековую мечту о земном рае? Достоевский в своей знаменитой "Легенде…" и В. Соловьев в "Трех разговорах…" описали наступление царства Антихриста, которое похоже на критическую реконструкцию постиндустриального общества, выполненную такими известными философами как Ясперс, Хайдеггер, Ортега-и-Гассет, Адорно, Маркузе, Фромм и др. Конечно, моральным импульсом интеллектуала является забота о человеке. Маркузе обеспокоен теми опасными тенденциями, которые определяют развитие постиндустриального общества: безработица, производство вооружения, техногенная перегрузка природы, несоблюдение прав человека, угнетение женщин, детей, стариков. Но особенно его заботит тот факт, что общество научилось не просто выдавать, но и превращать свои недостатки в достоинства. "Не служит ли угроза атомной катастрофы, способной истребить человеческую расу, защите тех самых сил, которые стремятся увековечить эту

[1] Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994. С. XIV–XV.

опасность?", — так начинает свою книгу Маркузе.[2]

Но неужели этот протест интеллектуалов против машинизации, маркетизации, омассовления, бездуховности, потребительства и конформизма сможет разбудить людей, озабоченных улучшением комфортабельности своей собственной жизни. Сам Маркузе не очень верил в действенность своей критической теории. Тем более пессимистично настроен Фуко, который считает протест интеллектуалов непоследовательным, так как именно они производят власть, более того, сами оплетены ею со всех сторон и не умеют бороться с нею. Но можно поставить вопрос еще более радикально, честно ли призывать к разрушению общества, которое смогло обеспечить высокий уровень жизни своим согражданам? Инквизитор в ответ на упреки Христа, вернувшегося с инспекционными целями на Землю, утверждает, что прежде всего нужно накормить голодных. Кто смог бы это отвергнуть, если сам Христос целует Инквизитора и тихо уходит?

В России снова случилась революция, начавшаяся с Перестройки, и ее можно понять как протест против материального благополучия, ибо последствия ее для экономики и политики оказались поистине катастрофическими. Сможет ли Запад совершить нечто подобное, решатся ли люди отказаться от комфорта ради призрачной свободы, которой они к тому же и не хотят? Но не стоит переоценивать духовно-религиозное, эмансипирующее значение русских революций. На самом деле интерес, который лежал в их основе, был не идеальным, а прежде всего материальным. Да, люди мечтали об освобождении и справедливости, но они думали о хлебе насущном: в 1917 году — о земле, в 1985 — об "экономной экономике".

Протест интеллигенции было бы неверно считать совершенно пустым. На самом деле царство Антихриста не так уж и безопасно. Маркузе считает, что уровень жизни людей в постиндустриальном обществе уже давно превысил черту райского минимума и власть могла бы приступить к просвещению и эмансипации. Однако она автономизировалась и думает исключительно о собственном самосохранении. Этот момент был хорошо раскрыт в работах Ю. Хабермаса, который указал на то, что сегодня стратегические ориентации развития общества принимаются исходя из технических возможностей, а не из жизненных интересов людей. На интеграцию ранее разнонаправленных институтов указывал и Маркузе: "Сама категория «общество» выражала острый конфликт социальной и политической сфер — антагонизм общества и государства. Подобным же образом понятия «индивид», «класс», «частный», «семья» обозначали сферы и силы, еще не интегрированные в установившиеся условия. Но возрастающая интеграция индустриального общества, лишая эти понятия критического смысла, стремится превратить их в операциональные термины описания или обмана".[3]

Маркузе отмечал, что технология современной власти стала настолько совершенной, что использует для своей поддержки даже негативное. Она нейтрализует не только интеллектуальную критику, но и собственные просчеты, ограниченность установок, человеческие и природные катастрофы, вызванные невиданным ускорением системы. Люди движутся все быстрее, хотя нет никакой цели. Целью стало само движение, напоминающее движение трупа.

То, что высказывал Маркузе в 60-е годы, стало еще более очевидным сегодня. Однако критическая теория общества не приобрела больше сторонников. Не только обыватели, но и интеллектуалы смирились со своей участью и стараются достичь освобождения в рамках частной жизни. Государство и рынок уже нельзя исправить. Это такие машины, которые нельзя ломать, ибо потери окажутся слишком велики. На исходе реформ и в России проснулась ностальгия по прошлому.

---

[2] Там же. С. XI.

[3] Там же. С. XVII.

Итак, правду о современном обществе потребления знают все. Власти не стоило бы даже затрачивать большие материальные средства на камуфляж, ибо люди терпят ее потому, что не видят иного выхода. Цена такого соглашательства по-прежнему высока. Но мы платим теперь не рабством, нищетой, бесправием, необразованностью и бескультурностью, и даже не психодрамами, переходящими не без помощи психоаналитиков в мелодрамы, а утратой энергетики жизни, чувством безнадежности. У нас нет комплекса вины и нам не в чем каяться, но есть безысходное чувство судьбы, которую мы принимаем, потому что изверились в любых рецептах эмансипации.

Таким образом, сегодня критика общества связана не столько с поисками истины, сколько с этическим протестом против того, что человек превращен в машину. Означает ли это, что главным в критике становится моральный дискурс? И если оценивать все с точки зрения морали, как это делал Л. Толстой, то кто и как будет оценивать саму мораль, чтобы отличить плохую от хорошей.

Современность зла и зло современности

Бодрийяр — наш современник, который считает, что программа спасения, объявленная франкфуртцами, как бы выполнена, но не принесла положительных результатов. Все стали заботиться о правах человека, о спасении природы и даже культивировать любовь к высокому искусству (в какое время на стадионах собирались десятки тысяч людей, чтобы слушать оперные арии?). Для Бодрийяра спасение людей приходит не со стороны позитивного, а со стороны негативного: катастрофы, эпидемии, наркомания, психические расстройства, терроризм и т. п. формы зла — только они, если не образумят, то по крайней мере укрепят тела и души людей. Главная опасность — размягчение телесной, природной субстанции культуры, отрыв от корней, утрата не только почвы, но и тела. Человек, живущий в стерильной обстановке (общество стало гигантским профилакторием) утратил способность сопротивляться вирусам. Стали исчезать люди, способные переживать чувство ответственности за происходящее. Души людей, дрожащих от сладкого ужаса перед экранами ТВ, но реально не испытывающие никаких лишений, утратили чувство сострадания и солидарности.

В каждую эпоху находятся люди, которым кажется, что время "сошло со своих кругов". Это значит, что оно ушло по отношению к ним вперед и они перестали чувствовать себя в повседневной жизни так, как рыбы чувствуют себя в воде, а птицы в воздухе. "Порвалась связь времен". Новое, появлению которого мы сами немало способствуем, пугает нас, ибо в своей внутренней жизни мы начинаем с какого-то момента двигаться в обратном направлении, к истокам — к наставлениям и поучениям отцов и дедов. Вдруг осознаешь, что в жизни пришлось повторить то, против чего восставал. Так и книга Бодрийяра направлена поперек течения времени. Критик официальной идеологии, академической науки, которая под видом абсолютных истин насаждала правила сохранения института надутых мандаринов, стал жалеть о распаде культурных норм — так теперь стало называться то, что ранее в революционной фазе расценивалось как чисто буржуазное явление. Как будто проснувшись после тяжелого похмелья, Бодрийяр с ужасом оглядывается вокруг и вспоминает вчерашнюю оргию.

Оргиастическое начало в культуре после Ницше стало, хотя и не совсем пристойным, однако же необходимым, Особенно Шпенглер в своей работе подчеркивал "фаустовский дух" культуры и даже видел в его угасании причину "заката Европы". Конечно, ценилась творческая оргия, "праздник созидательного труда", как это выражали большевики, которым так же был внутренне близок "прометеев огонь". Политическая революция, до того как она окончательно исчерпает себя и провозгласит "Король умер, да здравствует король!", нуждается в культурном авангарде. Но, как это не парадоксально, в нем нуждается и победившая буржуазия. Видимо, рынок революционнее самой революции. Почему же они несовместимы? Или, может быть, так: почему рынок — это революционное по отношению к

храму и другим моральным пространствам начало — становится по-особенному консервативным? По-особенному — это значит, стимулирует кипучую деятельность, ускоряет обращение товаров и денег, но при этом утрачивает связь с тем, ради чего все это, собственно, должно двигаться. Рынок стимулирует движение ради движения. Рыночная экономика порождает мобильного индивида, который осваивает весь мир в поисках выгодных сделок. Он приводит в движение товары, деньги и идеи. Но сегодня это похоже на то, как мотор начинает работать вразнос: выключено зажигание и прервана связь с трансмиссией, однако топливо сгорает в результате перегрева стенок цилиндров. Так и рынок начинает работать сам на себя и буквально все оценивать скоростью циркуляции. Он уже не регулируется даже законом стоимости, и сегодня мало кто понимает причины скачков индекса Доу Джонса, потому что никто не знает, сколько стоит доллар на "самом деле". Товары продаются по принципу "дороже, чем дорого", а деньги, утратившие связь с материальным обеспечением, становятся чисто спекулятивным знаком, символическим капиталом. Вспоминается описание А. Толстым процесса спекуляции во время первой мировой войны: торговец достает мешок сахара и перепродает его другому, тот — третьему и т. д. Итак, в наличии всего один мешок сахара, и он не увеличивается (тем более, что перепродается накладная), но деньги растут, как снежный ком.

Все превращается в знаки, даже то, что раньше приносило непосредственное удовольствие. Удовольствия, как чисто человеческой непосредственной радости, можно сказать, не стало совсем. Оно само стало знаком. На место материальности вещей и идеальности ценностей пришла новая семиотика мира. Промышленность и рынок, искусство и наука — буквально все сферы производства нынче создают исключительно символические ценности, а точнее, знаки. Поначалу это казалось важным, ибо в единстве материального и символического открывалась интересная возможность. Вещь создается не только руками, но и воображением, причем воображением как творца, так и последующего владельца вещи, который, купив ее, не просто пользуется ею, но думает, что обладает при этом еще и некой символической значимостью. Однако сегодня затраты на производство символического капитала, к тому же все более спекулятивного, оторванного от реального назначения вещей, стали явно превышать труд, направленный на действительное преобразование мира, человека, общества. Раньше символическое будило воображение и стимулировало изменение внешнего. Сегодня создается нечто утопическое, которое без особых усилий, благодаря овладению современными масс-медиа и рекламой образами, формами, цветами, воплощается на экране и создает иллюзию реальности. Процесс симуляции зашел так далеко, что утратилось само различие фантазии и реальности. Реклама — это настоящая действительность, даже если ты никогда не сможешь реально купить то, что рекламируется. На рекламных щитах вещи выглядят более совершенными, чем на самом деле. Зачем же тогда тратить усилия на их производство и приобретение, использование и обслуживание?

И раньше любые вещи имели символическое значение. Но, пожалуй, только сегодня, во многом благодаря рекламе, внутренние качества вещей, их строение и полезность оказываются стертыми. Не случайно в современных каталогах новых моделей автомобилей все меньше места уделяется описанию их технических достоинств и все шире рекламируются «мифологические» значения: купите наш автомобиль, и Вы станете вездесущим, неуловимым, свободным как птица. То же происходит в рекламе мебели, которая как бы стирается, становится невидимой, встроенной, начиненной электроникой и вместе с тем обещающей и заменяющей всю вселенную. Воплощается идеал барокко — комната без окон, стены которой отражают все происходящее в мире. Современная мебель и бытовая техника образуют нечто вроде монады Лейбница. Благодаря соединению ТВ, компьютера, факса отпадает нужда ходить не только в библиотеки, театры и музеи, но и в магазины, все популярнее становится надомный труд. Итак, внешний мир доступен нам с экрана монитора. Он весь у наших ног, точнее, перед нашими глазами, но, превращенный в аудиовизуальный дискурс, он одновременно исчез как таковой в своей вещественной плотности, хотя и стал при этом даже более ярким и красивым, чем на самом деле.

Виртуальная реальность — это одновременно гиперреальность.

Мир превратился в знаковую, виртуальную реальность. Это проявляется даже в таком серьезном деле, как война. Нынешнее поколение прожило жизнь без войны, но страх военной угрозы был самой настоящей реальностью. И раньше люди боялись войны, так как ни одно поколение не обходилось без того, чтобы так или иначе быть ею затронутой. Этот страх отсылал к совершенно реальным событиям — смерти, разрушению, голоду, плененению. Война шла на Земле. Сегодня говорят об атомной угрозе. Накоплено столько оружия, в том числе и ядерных боеголовок, что можно несколько раз уничтожить все население на планете. И все-таки третья мировая война — это виртуальная реальность, ее нет, и она может не наступить. Но парадокс в том, что страх войны является, может быть, более значимым, чем сама война. Здесь интересны два момента. С одной стороны, разрабатывается концепция "звездных войн" и, таким образом, война переносится с территорий Земли в звездное пространство. С другой стороны, нарастает эскалация страха, который выступает важной формой сохранения режима власти и порядка Без него работа военной промышленности не имела бы внутреннего оправдания. Эти кажущиеся противоречивыми тенденции, ибо перенос войн в космическое пространство снижает интенсивность страха, являются тем не менее взаимодополняющими. Война остается незыблемым оправданием существования государства и одновременно оказывается виртуальной реальностью. Кино заменяет настоящую войну. Это только кажется, что мы живем в мире. На самом деле каждый день на экранах ТВ разворачиваются великие сражения, разрушаются города, льется людская кровь.

Столь же странным образом функционирует экономика. Кризис 1987 на Уолл-Стритт, наконец события 1997 и 1998 годов на биржах Азии, России и Южной Америки — все это такие финансовые кризисы, которые порождаются не какими-то деструктивными процессами в реальной экономике. Этим они резко отличаются от кризиса 1929 года, который был вызван просчетами в промышленности. Если раньше деньги обесценивались вслед за снижением материального богатства, то теперь наоборот, товары обесцениваются вследствие финансовых махинаций. Это означает, что сегодня деньги функционируют как знаки, которые уже не обеспечиваются реальной стоимостью и не регулируются трудом и богатством. Сколько "на самом деле" стоит доллар, не знает никто. Идея золотого или иного натурального обеспечения денег сегодня кажется чересчур архаичной. Однако отрыв от закона стоимости приводит к тому, что экономика превращается в чистую спекуляцию — производство и циркуляцию символической продукции.

Глубочайшие изменения произошли в сфере искусства. Бросается в глаза смешение форм и стилей. Вместо дискуссий между представителями различных непримиримых направлений сегодня царит полное безразличие к различиям, и они воспринимаются как само собой разумеющееся, встречающееся буквально на одном полотне, одна половина которого может быть выполнена в классической, а другая в постмодернистской манере. Искусство перестало творить идеальные образы, выражающие идеалы красоты. Оно всегда с чем-то соотносилось: с "самими вещами" или с вечными ценностями. Во всяком случае, оно отличалось от повседневности и уводило в мир прекрасного. Поэтому у него была своя территория: картинная галерея, музей, наконец, место в комнате, где человек отвлекался от "злобы дня", где взор его отдыхал, созерцая красивые изображения. Современное искусство формировалось как протест против резкого разделения прекрасного и безобразного, культурного и некультурного. Первый шок вызвала картина, изображающая писсуар. Кажется парадоксальным, что сегодня стоимость этой картины достаточна для строительства десятков этих нужных заведений. Почему же за не вызывающие удовольствие произведения искусства люди платят такие большие деньги?

Вместе с тем преодоление границ высокого и низкого стало решительным шагом эстетизации мира. Так упомянутое заведение может выглядеть не так, как оно обычно устроено у нас, а как настоящий храм. Поэтому более важными по своим последствиям были не акции авангардистов, а усилия часто неизвестных дизайнеров, которые одели машины

плотью вещей. В то время, как искусство пытается разобрать предметы на составные элементы и выявляет конструкцию, арматуру вещей и лиц, охотно подчеркивает механический расчет в изображении мостов, вокзалов и других сооружений, дизайн, наоборот, покрывает механику поверхностями, отшлифованными классическим искусством. Кажется, что в этом нет ничего плохого. И раньше ремесленники, особенно ювелиры, столяры, гончары, кузнецы, оружейники, придавали изделиям красивую форму, которая была соразмерной и сподручной и вместе с тем отображала назначение вещи. Нынешние дизайнеры, скорее, скрывают назначение вещей, и под красивой поверхностью нет ничего впечатляющего. Если открыть крышку прибора, то можно увидеть отдельные блоки и микросхемы, но это не идет ни в какое сравнение с тем зрелищем, которое представилось глазам ребенка, впервые разобравшего механические часы. Благодаря эстетизации вещи виртуализируются и обретают знаково-символическую форму.

Наряду с растворением вещей в искусстве происходит растворение искусства в вещах. Перечеркнув границу утопии и реальности, оно исчезает само. Таким образом, есть какая-то связь дизайна и акций авангардистов, протестовавших против производства прекрасных произведений, которыми может наслаждаться утомленный повседневными делами человек, против места и времени, отведенных искусству: выставочных залов и музеев, театров и концертов, которые посещаются в свободное от работы время. Как бы высокомерно мэтры современного искусства ни относились к дизайнерам и модельерам, они делают общее дело — воплощают эстетические каноны в реальность и этим способствуют исчезновению как реальности, так и искусства. Более того, эстетическое теперь уже ничего не выражает ни вне человека, ни внутри его. Оно соотносится само с собой и тоже становится похожим на работающий вразнос механизм. Циркуляция стилей и форм, смена моды заменяют проблему оправдания и обоснования, которая раньше соотносила изменения в искусстве с изменениями социально-культурных парадигм, ломкой мировоззрения и самопонимания человека.

Прозрачность зла

Все, что Бодрийяр увидел в Америке, философски осмыслено в его работе "Прозрачность зла", в которой основное внимание уделяется феноменам трансэстетического, трансполитического и транссексуального Они расцениваются как признаки утраты обществом своей естественной основы Но искусственно созданные системы не стабильны Для них опасны внешние, чуждые влияния, хуже того, внутри зарождаются собственные вирусы, так же угрожающие стабильности Чем сложнее система, тем она нестабильнее В состоянии неустойчивого равновесия все труднее предусмотреть, к каким последствиям могут привести те или иные события Сравнивая искусственное техногенное общество с более примитивными, Бодрийяр делает вывод, что последние, несмотря на лишения живущих в них людей, являются более жизнеспособными. Основные черты современности, по Бодрийяру, выглядят следующим образом.[4]

Трансэстетическое

Крупнейшим из предприятий Запада можно считать меркантилизацию мира все ожидает судьба быть оцененным как товар Это предприятие включает в себя также и эстетизацию мира, его космополитическое инсценирование, преображение как семиотическую реорганизацию По ту сторону товарного материализма мы живем в семиургии вещей благодаря масс-медиа Даже маргинальное, банальное эстетизируется и культурализируется Все можно высказать, все обретает форму и силу знака Система

[4] Baudrillard J. La Transparence du Mal. Paris, 1990

функционирует все меньше как множество товаров и все больше — как множество эстетических знаков.

Говорят о дематериализации искусства, о минимальном, концептуальном искусстве, искусстве взгляда, антиискусстве, об эстетике транспарентности, исчезновения и нетелесности, но в действительности повсюду эстетика материализуется в материальной форме. Отсюда искусство не имеет стимулов к становлению и ограничивается игрой в свое исчезновение. И оно это делает почти целое столетие по правилам своей игры. Как и всякая исчезающая понятийная форма, оно раздваивается в процессе симуляции, но это не уберегает его от исчезновения, и оно занимает свое место в музеях.

Эклектическое смешение форм, эклектическое смешение наслаждений — это барокко. Однако этот стиль смешивал искусство с плотью. Мы тоже занимаемся производством образов, однако они напоминают иконы не такие, которые разрушают образы, а такие, которые используют их даже в избытке, на которые не хочется даже смотреть. Многие современные картины, видео, пластика, аудиовизуальные образы остаются буквенными символами, в которых ничего нельзя увидеть, образы без следа, без тени, без последствий. Остается в памяти лишь нечто, исчезающее позади них. Но они не есть и след того, что исчезает. Монохромные образы очаровывают удивительным отсутствием всякой формы. Угасание искусства остается эстетическим синтаксисом, как в транссексуальном в форме спектакля все еще реанимируется половая дифференциация. Эти образы ничего не утаивают и не содержат, они обладают какой-то негативной интенсивностью. Единственная заслуга видится в том, что вопросы о красивом и некрасивом, реальном и ирреальном, трансцендентном и имманентном больше вообще не ставятся, это похоже на то, как византийская иконопись обходит вопрос о существовании Бога, не отрицая веру.

В этом и состоит чудо. Наши образы, как иконы: они сохраняют веру в искусство тем, что обходят стороной вопрос о его существовании. Тогда нужно рассматривать наше современное искусство как ритуальную практику, которая выполняет важные антропологические функции, но не вызывает никаких эстетических суждений. Так мы можем вернуться на примитивную стадию развития общества и начнем культивировать ультра- или инфраэстетику. Но в этом бессмысленно видеть сохранение когерентности или эстетической судьбы, как бессмысленно искать голубизну неба в инфракрасных или ультрафиолетовых лучах.

С позиции "ни красиво, ни некрасиво" невозможно сделать правильное суждение. По ту сторону этого безразличия находится фантазия, заступающая на место эстетического удовольствия. Прекрасное и безобразное, освобожденное от принуждающей силы, приводит к путанице. При этом современная живопись культивирует не безусловно безобразное, но безобразное безобразия (кич), безобразное второго порядка, чтобы избежать его сопоставления со своею настоящей противоположностью. Освобождение от наивного происходит как превращение наивного в наивное. Быть связанным с Мондрианом понимается быть больше, чем Мондрианом. Освобождение от реального превращается в изображение реального как реального, в гиперреальное. Повсюду гиперреализм связан с поп-артом благодаря подчеркиванию повседневности жизни в иконическом фотореализме. Пересечение всех форм и стилей искусства означает вступление в трансэстетическое поле симуляции. Есть параллель этой эскалации на художественном рынке, где все на основе функционирования закона стоимости становится "дороже, чем дорого", дороговизной второго порядка. Если нет никаких правил эстетической игры, искусство движется во всех направлениях; если закон стоимости перестает регулировать рынок, он превращается в место чистой спекуляции. То же самое происходит из-за отсутствия эстетического регулирования и в искусстве — эксцесс и бессмыслица. Это экстаз ценностей.

Сверхпроводящие события

Мы живем в условиях сверхпроводимости, которая является порождением уже не

государства, институтов, индивидов, а чисто трансцендентальных структур: секса, денег, информации и коммуникации. Болезнетворные индифферентные формы часто порождаются масс-медиа, которые опираются на вирулентность образов и приобретают заразный характер. Если наша культура производит прекрасные эффекты, то почему мы удивляемся, что она же создает и смертельно опасные вирусы. Радиационное облучение тела началось с Хиросимы, облучение души продолжается в ходе излучений медиумами знаков и образов.

Спид, биржевой кризис, электронные вирусы, терроризм — все это связано и переходит одно в другое. Спид — разновидность и следствие кризиса сексуальных ценностей, компьютеры играют роль вирусов на биржах. Такие кризисы имеют не только внутрисистемный характер, а прорываются наружу. Это проявляется прежде всего в катастрофах. Знаки кризисов такого рода уже давно очевидны: спид приобрел эпидемическую форму, биржевые крахи с 1929 года повторяются периодически, электронные сбои также уже имеют давнюю историю. Однако взаимосвязь этих отдельных форм, когда создается чрезвычайно мощная аномалия, — это особенность нашего времени. Она осознается не всегда равномерно — спид переживается как действительно ужасная катастрофа; биржевой крах, наоборот, расценивается как игра на катастрофе. Что касается электронных вирусов, то их эпидемия и опасные ее последствия расцениваются иронически и по сути глубоко беспокоят только профессионалов.

Культура испытывает те же самые воздействия: например, искусство превращается повсюду в фальшивку, копию, симулякр и одновременно продается на художественном рынке за большие деньги — настоящий метастаз тела, просвечиваемого деньгами. Идет цепная реакция терроризма в обществе (откуда он, из-за ущемления права, информации, безопасности, коммуникации, кто знает?) Хотя терроризм несопоставим со спидом и компьютерными взломщиками, однако он столь же непостижим, как и они. Программисты ведущих фирм создают программы, а взломщики их распрограммируют, подкладывают нечто вроде бомбы. Точно так же биржевые игроки: кажется, что действуют против предпринимателей, ибо наживаются на их трудностях. Все эти действия протекают по модели терроризма, который может быть перенесен на понимание спида, электронных вирусов и падения или повышения курсов акций на биржах.

Компьютерный вирус не является научной фикцией. В сфере информации и коммуникации должна осуществляться непрерывная циркуляция. Она ускоряется подобно процессам на биржах. Мы даже наслаждаемся спектакольной эйфорией от обращения капитала. Но таким образом мы наслаждаемся и тайной патологией этой системы, вирусами, которые проникли в ее машинерию и могут ее застопорить. Эти вирусы, по сути, следствие закрытости системы, пробивающие и находящие все новые пути, поражающие даже те программы, которые создавались для борьбы с ними. Компьютерные вирусы — свидетельство беззащитной прозрачности мира информации. Спид — это эманация смертоносной прозрачности секса на уровне целых групп. Биржевой крах — выражение нестойкости открытой экономии. Будучи освобожденными, эти процессы достигают стадии перегрева подобно тому, как это случается в атомных реакторах. Специфический шарм нашей эпохи, возможно, и состоит в перегретости энергетических процессов.

Завороженность блеском нашей эпохи связана с недальновидностью, ибо она парализует предвидение. Все отмеченные процессы обладают некой дружественностью, которая проявляется в том, что они создают некий единый вихревой поток. Интеллектуалы, как защищающие традиционные культурные, научные и моральные ценности, так и великолепно владеющие оружием интеллектуального опровержения этих весьма эгоистично используемых в жизни заповедей, стремятся получить удовольствие от иронии и критики по поводу новых опасностей — вирусов, технических катастроф, и кризисов. Это связано с тем, что они проявляются не как действительные несчастья, а как некие виртуальные события.

Очевидность неочевидна. Истина прячет свое лицо. Вполне возможно, что социология является квинтэссенцией зла коллективного сознания. Сколько сказано о молчании масс. Сегодня используется не столько молчаливость, сколько неочевидность. Это значит, что

понимание приходит помимо экспертов и специалистов, которые верят в то, что они могут на что-то влиять, когда политическое виртуально мертво, а новое, игра которого имеет место, связывает манипулятора и зрителя. Сегодня все образы дестабилизированы, они стали предметами спекулятивной игры. Вместе с этим неочевидная материя знаков стала предметом социологического исследования. Однако если власть представляет общество как статистический порядок, то для масс он выступает как статистический беспорядок. От этих вирусных, дьявольских диспозиций спасения ждут в случайном событии.

Нужно различать фатальное и случайное. Несчастный случай происходит на периферии, а фатальное коренится внутри системы. При этом фатальность не исключает того, что мы получаем его в маленьких, гомеопатических дозах. Наше общество продуцирует такие события, которые неочевидны и не подлежат просвещению. Событие заключается в продуцировании виртуальных артефактов, обратной стороной которых является трансвестивность. Компьютерные вирусы, которыми оказались заражены программы американских вооруженных сил, стали неким тестом или экспериментом самих американских спецслужб. Это продуктивно-симулятивное событие. Оно не было ни действительным несчастьем, ни тотальной симуляцией. В чем же тайна этой истории? Даже если предположить ее экспериментальное происхождение, то это не гарантирует управляемости процессами. Тестовый вирус разрушен, но он вызвал неконтролируемую цепную реакцию. Таким образом, мы имеем дело не с симулированным несчастьем, а с несчастьем симуляции. Можно сказать, что любое несчастье или катастрофа — это следствие террористической акции, но и наоборот. Отсюда вытекает вывод, что террористична сама система. Группы, симулирующие несчастный случай, подвергаются наказанию, как будто они в действительности его осуществили.

Наука, пытающаяся развеять состояние неочевидности и неуверенности, кажется, сама попала под власть странных аттракторов. Не меньше проблем у экономии и служб информации. Являются ли все эти техники частью реального мира? Они столь же неочевидны, как и создаваемый ими ирреальный мир. Наша революция — это недостоверное и неопределенное. В сущности, союз науки и техники направлен на преодоление принципа реальности в том смысле, что создается неочевидное. Мы не готовы это акцептировать, Парадокс состоит в том, что мы надеемся найди доступ к ним на основе информации и коммуникации, но при этом неопределенность отношений только увеличивается. Посылая проклятие технике с ее перверсивными эффектами, человечество тем не менее вступает со своими клонами на бесконечный путь по ленте Мебиуса.

Операция отбеливания одежд

Парадоксально, что неочевидное нарастает при избытке позитивного, из которого планомерно изымается все негативное. Наше общество впадает в род лейкемии, в эйфорию при постоянной трансфузии от отказа от негативного. Ни революция, ни просвещение, ни философия, ни даже критическая утопия не сняли окончательно противоречий. Эта проблема решена нами за счет отказа от негативного, что нарушает закон, согласно которому для производства энергии требуются оба полюса — негативное и позитивное. Сегодня господствует фактичность симулякра, благодаря прозрачности нашей искусственной цивилизации. Это похоже на то, как будто человек освещен со всех сторон, свет пронизывает его насквозь, но он остается невидимым в ярком свете. Мы освещены техникой, образами, информацией, мы подчинены этой белой активности: отбеленной социальности, отбеленной телесности, что привело к тотальному асепсису как денег, так мозга и памяти. Добела отстирана власть, чисто вымыта история в гигантском проекте хирургии красоты, которая излечивает как индивида, так и общество от разнообразных наростов. Мы находимся под сильнейшим хирургическим давлением, которое направлено на ампутацию любых негативных событий, и на синтетическую операцию нового моделирования. Эстетическая хирургия: случай лица — его красота или уродство, его определенный вид и даже

негативные черты — все это препарируется, превращается в прекрасное как прекрасное; идеальное лицо — это хирургическое лицо. Все данное от природы меняется: лицо, пол, дата рождения, точнее система ее отсчета. Констелляции звезд используются для нового переописания событий. Благодаря популярности астрологии звездные знаки задают новый стиль жизни. Даже данный нам природой пол, эту часть судьбы, которая нам определена, этот минимум фатальности и инакости, также можно изменять. Хирургия прекрасного, не зная жалости, проникает в природу, гены, историю (которую она подчиняет правам человека). Все должно быть соразмерено и подогнано друг к другу. Поэтому мы повсюду наталкиваемся на эту нечеловеческую формализацию лица, речи, пола, тела, воли, общественного мнения. Но эта хирургия знаков лишь закрывает негативное.

Сегодня жертвуют всем ради этого операционального производства вещей. Собственно производства тоже нет: земля, труд, которые производят богатство, — все модифицировано, теперь не они производят капитал, а он их. Труд — больше уже не акция, а операция. Рынок также не служит чистому потреблению, а, напротив, подчиняет вещи определенной знаковой шкале. Коммуникация перестала быть разговором, превратилась в производство информации, в возможность знания; кругом — производство возможности, виртуальное производство.

Радикальное зло

Кто сегодня изрекает и творит зло? Как мы думаем о нем и как оцениваем его роль? Манихейскую трактовку зла смогли преодолеть очень немногие мыслители. К тому же наша культура в ходе изоляции зла переместила его исключительно в семиотическую сферу, а оттуда проецирует вовне. Манихейское зло — изначально. Наше зло — морально-символическое по происхождению. Зло — это то, что вредит мне, моему окружению, человеческому роду. Более того, зло — это то, что таится в темных душах человеческих выродков и выражается в их кровавых поступках — насилии и убийстве. Борьба с так понимаемым злом настолько захватила человечество, что большинство придуманных им законов направлены на полное искоренение зла. Вместе с тем его не убавляется, и это поддерживает манихейский пессимизм.

Немногие историки, и среди них Якоб Бурхгард, признавали неизбежность и даже пользу зла в человеческой истории и тем самым сумели выйти за рамки моральной оппозиции. Среди философов Мандевиль в своей "Басне о пчелах" указал на позитивную энергию зла — насилия, лжи, роскоши, эксцесса. Моральное равенство и справедливость приводят к застою. Общество живет за счет энергии зла. Макиавелли, которого причисляют к философам зла, стоит на более умеренной позиции: указывая на неизбежность зла, он наряду с ним отмечает и проявления добра. Того и другого примерно одинаково в любом периоде истории, и они часто порождают друг друга. Добродетельные поступки могут оказаться причиной плохих последствий, например, если помощь оказывается дурному человеку, злобность которого проявляется и усиливается по мере того, как он встает на ноги. И наоборот, зло рождает ответную реакцию — мужественную борьбу, решительность, сострадание и поддержку, а они укрепляют жизнеспособность общества. Де Сад считал добродетель неморальной формой обмана. Жизнь должна быть злобной, она живет смертью. Живое существо убивает, пожирает других и умирает само. Смерть — движение и энергия жизни Делать вид, что можно жить вопреки этому закону, по правилам добра — значит обманывать себя и окружающих. Поэтому де Сад характеризует добродетель как бесчестный закон. Он принимает революцию как время зла и предлагает вместо принятия ограничивающих его законов перманентное насилие: сто дней террора, "сто дней содома", "еще одно усилие, и вы станете свободными".

Сегодня метафизические споры не в чести, и даже манихейскую доктрину вспоминают не часто. Зато общество тщательно и всесторонне разработало меры, препятствующие проникновению зла во все более замкнутую общественную систему. Голод, болезни,

неравенство, эксплуатация, кража и тем более насилие и убийство — все это не просто осуждается, но создана мощная техника борьбы со всеми этими проявлениями зла. Медицина в борьбе с инфекционными заболеваниями принимает настолько радикальные профилактические меры, что стремится избавить нас от воздействия любых патогенных микробов, разрабатывает эффективные препараты для очищения организма от разного рода отходов. И, несмотря на это, болезни не только не отступают, но на место прежних проказы, чумы и сифилиса приходят новые заболевания. Теперь уже ясно, что они вызваны ослаблением иммунной системы, которое в свою очередь произошло во многом из-за того, что организм оказался в искусственной профилактической среде и утратил способность самостоятельно справляться с вирусами.

Природные катастрофы, внушавшие ужас, сменились техническими. Постепенно сложился экологический этос и широкое движение защитников природы. Но наступление на природу необратимо, и мы уже живем так, как будто катастрофа уже случилась. На самом деле, судя по научным расчетам, у человечества еще достаточно много источников природной энергии, и в обозримом будущем они не иссякнут. Это как с войной. Именно наше поколение, которого непосредственно не коснулись широкомасштабные войны и связанные с ними смерть, голод, лишения, тем не менее жило и живет в постоянном страхе и предчувствии ядерной катастрофы.

Ксерокс и бесконечное

Человек представляет интеллектуальные машины либо как нечто притязающее на тайну мысли, либо как нечто монструозное, бесполезное и даже разрушительное для интеллектуальности; так, люди обзаводятся машинами, чтобы потом с ними играть. Доверие к интеллектуальным машинам лишает нас претензии на познание, как передача власти политикам приводит к тому, что они начинают играть нами. Люди мечтают об оригинальных и гениальных машинах, потому что сомневаются в собственной оригинальности или любят снимать с себя ответственность и перекладывать ее на кого-нибудь другого. Так как машины демонстрируют некий спектакль мышления, то обслуживающие их машины-автоматы могут восприниматься уже как само мышление.

Машины не только виртуальны, они помогают мыслить в неопределенных ситуациях, когда требуются длинные вычисления. Акты мысли при этом приобретают бесконечный характер. Вопрос о самом мышлении при этом может вообще не возникать, как не возникает вопрос о свободе у будущих поколений, которые пересекают жизнь как воздух, расположившись в удобном кресле авиалайнера. Точно так же современный интеллектуал с помощью компьютера пересекает духовное пространство. Виртуальный человек становится окончательно безжизненным за экраном компьютера. Это отсутствие движения несомненно оказывается препятствием мышлению. Это цена, которую следует учитывать. Как очки и контактные линзы стали нашими родовыми протезами, ибо мы теряем зрение, так и компьютер становится искусственным протезом теряющих способность мыслить людей.

Искусственный интеллект — не интеллект, потому что он не искусственный. Действительное искусство, изображающее тело в его страданиях, знаки в их использовании — в жестах и мимике, в масках и танцах, искусство, интересующееся всем тем, что движется и меняется в человеке, является способом его мысли о мире и о самом себе. Интеллектуальные машины искусственны в одном специфическом смысле этого слова — они разлагают на простые дигитальные моменты различные языковые, познавательные и телесные процессы, чтобы потом создать их искусственные модели. Но речь идет не о том, что генерируются реальные объекты, а о том, что они изменяются, и на их место подставляются иллюзорные. Искусственный интеллект — молодая общественная машина, в которой добродетелью является отсутствие страдания.

Говорят, что человек отличается от машины тем, что испытывает наслаждение. Каждая разновидность протеза порождает свои формы удовольствия, но среди них нет таких,

которые вызваны тем, что человек является человеком. Конечно, мы стараемся задать машине идею человека, но всегда запаздываем, и поэтому машина задает свое представление о нем и тем самым определяет его место. Человек может исходить в своей деятельности из представления о том, что он есть, и менять самосознание, а машина не может перешагивать через представления о самой себе. Она не признает иронии и тем более эксцесса относительно функционирования, от которых человек может получить удовольствие и таким образом дистанцироваться от своей служебности, К несчастью, машина не может выйти за рамки своих операций, и в этом причина глубокой меланхолии компьютера. (Может быть только, компьютерный вирус — это электронная форма протеста против своей заданности и пародийное моделирование собственного машинного интеллекта.)

Виртуальные общественные машины порождают телематического человека. Он рассматривает их работу как своеобразный интеллектуальный спектакль о функционировании своего собственного мозга и аналогичным образом пытается понять свои фантазмы и виртуальные удовольствия. В случаях познания и удовольствия он одинаково связан с машиной. Для него Другой, партнер переговоров — это экран, а не зеркало. Интерактивный экран превращает процесс общения в процесс коммутации, где подобное контактирует с подобным. Тайна Интерфакса в том, что Другой — виртуально тот же самый, другость другого конфискуется машиной. Даже телефонный разговор отличается от электронной почты. В передаче и в восприятии текста на экране есть какой-то тайный эротизм, какой-то промискуитет. В стадии зеркала мы переживаем различие Я и Другого и их отчужденность. Но сегодня мы живем в стадии экрана, Интерфакса, коммутации. Все наши машины имеют экраны, интерактивно связанные с человеком. То, что появляется на экране, требует особого режима чтения. Это дигитальное восприятие, когда глаз прерывисто движется вдоль линии вслед за курсором. Такой же характер имеет и общение с партнером переговоров — тактильное и прерывистое. Даже голос, встроенный в современную электронную связь, — тактильный, функциональный голос, нулевая ступень голоса. Экран меняет общую парадигму сенсибильности, он уничтожает дистанцию образа и взгляда. С исчезновением дистанции исчезло место зрителя. Мы впадаем в своеобразную имагинативную кому перед экраном, который требует бесконечного взгляда, порождает промискуитет и своеобразную порнографию. Это не световой образ, а телеобраз, который находится на таком расстоянии, которое принципиально непреодолимо человеческим телом. Даже дистанция языка и зеркала были преодолимы телесно, и поэтому было возможно человеческое общение. Экран — виртуальная реальность, допускающая только самые абстрактные формы коммуникации.

Коммуникация, осуществляющаяся на основе слов, жестов и взоров, является континуальной и обязательно (вблизи или вдали) предполагает другого, как тело — того, что окружает. По-другому протекает виртуальная коммуникация. Экран наших образов, интерактивный экран одновременно — далекий и близкий: слишком близкий, чтобы быть истинным (иметь драматическую интенсивность сцены), и слишком далекий, чтобы быть ложным (сохранять сложную дистанцию с искусственным). Они задают меру человеческого, эксцентрического, соответствующего концентрации пространства и растворению тела.

Нет никакой красивой топологии Мебиуса для характеристики этой непрерывности дальнего и близкого, внутреннего и внешнего, субъекта и объекта на одной вьющейся ленте, которые характерны для экрана нашего компьютера, переплетенного непостижимым образом с экраном мозга. Та же самая модель характеризует и инцестуозное переплетение информации и коммуникации, неразличимость субъекта и объекта, внутреннего и внешнего, вопроса и ответа, события и образа. То же характерно для наших отношений с виртуальными машинами. Телематический человек, как аппарат, подчинен другому аппарату. Машина определяет то, что может и чего не может человек. Он — оператор виртуальности, и его действия нацелены на информацию и коммуникацию; в действительности речь идет о том, чтобы испробовать все возможности программы, подобно тому как игрок пробует все возможности игры. При использовании фотоаппарата виртуальность относится не к

субъекту, созерцающему мир, а к объекту, нуждающемуся в виртуальности объектива. Рассматриваемый таким образом фотоаппарат является машиной, которая изменяет мир, вызывает желание сделать фотографию. Магической является как инволюция субъекта в черный ящик, так и деволюция себя в безличный аппарат. В объективе и на экране объект отдает себя во власть медиальных и телематических техник.

Сегодня возможны любые образы. Все они информатизированы, коммутированы в дигитальные операции, подобно тому как индивидуум сводится к его генетической формуле (вся работа состоит в том, чтобы исчерпать виртуальность генетического кода, и это главный принцип построения искусственного интеллекта). Точнее говоря, нет ни одного события, ни одного поступка, которые не выразимы на экране как технически возможные образы, нет ни одной акции, которая не стремится стать сфотографированной, снятой, которая не стремится сохраниться в памяти технических устройств, репродуцироваться вечно. Человек стремится трансцендировать себя в виртуальной вечности не для существования после смерти, а для сохранения в сложных информационных сетях, в искусственной памяти. Притязание на потенциальное существование, желание быть презентированным на экранах и в программах — эта страсть является магической, Ее храмом является черный ящик. Где остается свобода, кроме этого? Она исчезает. Нет никакого выбора, никакого окончательного решения. Любой ответ на вопрос сети, получение информации, участие в коммуникации являются сериальными, фрактальными, фрагментарными. Только последовательность частичных решений, микроскопическая серия последовательных шагов представляет путь, по которому движется фотограф, телематический человек или банальный телевизионный ведущий. Структура их жестов имеет квантовый характер: ансамбль пунктуальных решений. Поражающим следствием этого ритуала в храме черного ящика является исчезновение свободы.

Являюсь я человеком или машиной? На этот антропологический вопрос больше нет ответа. Мы живем в эпоху конца антропологии, которая тайным образом конфискована машинами и новейшими технологиями. Недостоверность, которая возникает из несовершенства машинных сетей, и сексуальная недостоверность (кто я: мужчина или женщина?), связанная с техниками бессознательного и телесного, имеют нечто общее с недостоверностью, вызванной изменением статуса объекта в микрофизике.

Кто я, человек или машина? В сравнении с традиционными машинами нет сомнений относительно своеобразия человека. Рабочий противостоит машине, как живое автомату, и отсюда отчуждение. Он сохраняет себя как отчужденный человек. Новые машины, новые технологии, новые образы, интерактивные экраны не отчуждают, а интегрируют нас в свои сети. Видео, компьютер, минителефон (наподобие контактных линз) являются транспарентными протезами, которые так интегрированы в наше тело, что как будто генетически или от рождения заложены качестве имплантантов. Связь с информационной сетью — хотим мы этого или нет — имеет точно такой же характер, поэтому следует говорить не об отчуждении, а о включении человека в некую интегрированную систему. При этом идет ли речь о человеке или машине — это, собственно, уже и неважно.

Невероятный успех искусственного интеллекта состоит в том, что он освободил нас от воздействия естественного разума, и в том, что, доведя до совершенства операциональный процесс мышления, он освободил нас от неразрешимых загадок нашего присутствия в мире. Преимущество новых технологий состоит в том, что они ставят нас перед фактом: вечная проблема свободы, в принципе, уже не может больше быть поставлена. Виртуальные машины не создают никаких проблем такого рода: ни со стороны субъекта, ни со стороны объекта никто не создает отчуждения. Наоборот, культивируется сотрудничество, включенность в общую коммуникативную сеть, которая является искусственным раем тождества. Итак, нет больше отчуждения человека человеком, есть гомеостазис человека и машины.

Судьба энергии

Прототипом хаотического состояния вследствие гиперстабилизации исходных данных системы является судьба энергии. Наша культура уже не переживает периодов свободного состояния энергии. Все мировые процессы обрели регулярный, связанный характер, но принцип свободного состояния энергии оказался не нарушенным. Несвязанная энергия переходит на другие уровни. Сам человек понимается как освобожденный источник энергии, как мотор, как ускоритель истории. Энергия есть не что иное, как фантазматическая проекция, которая пожирает все индустриальные и технические мечтания современности и приводит к пониманию человека на основе волевой динамики. Благодаря современной физике мы знаем о турбулентностях, хаосе, катастрофах, которые возникают в результате ускорения, когда прямые линии скручиваются и превращаются в кривые.

Настигающая нас катастрофа состоит не в исчерпании ресурсов. Энергии во всех ее формах все еще много, и ее хватит на обозримое будущее. Атомная энергия, энергия солнца, потоков воды и воздуха и даже природных катастроф и вулканов, вращения Земли — все это неисчерпаемо, если доверять техническим расчетам. Драматична лишь динамика неравновесности, из-за которой несвязанная энергия может привести к катастрофе. Мы знаем уже пару спектакольных примеров такого освобождения атомной энергии — Хиросима и Чернобыль, но, вообще говоря, все цепные реакции, будь то вирусы или деление частиц, — потенциально катастрофичны. Нет никакой защиты ни от эпидемии, ни от атомного оружия. Общая система преобразования мира на основе энергии, кажется, неизбежно включает эту вирулентную, эпидемическую фазу, ибо по своей сути энергия — есть трата, падение напряжения, различие, неравновесность, миниатюрный взрыв, который производит позитивный эффект, но имеет тенденцию выйти из-под контроля и разразиться в форме катастрофы. Можно рассматривать энергию как причину и как действие, которое репродуцирует само себя. Парадокс состоит в том, что она, с одной стороны, связывает причины, а с другой — развязывает действия. Но из-за переохлаждения системы трансформация и циркуляция энергии разрушаются, и она начинает пожирать самое себя.

Посмотрим на Нью-Йорк. Его чудо в том, что там каждое утро все начинается заново, а к вечеру все расходуется. Это совершенно необъяснимо, если не исходить из того, что нет никакого разумного принципа траты и восстановления энергии, и функционирование такого мегаполиса не подчиняется второму началу термодинамики, или что он пожирает энергию секса, алкоголя, наркотиков, шума, выхлопных газов. Специалисты по теории множеств пытаются понять исходный импульс энергии, который лежит в основе ее расходования. В Нью-Йорке это расходование становится спектакольным. Переохлаждение приписывается сексуальной энергии, которая переходит в ментальную активность. Это похоже на трупное окоченение кадавра, который болтает ногами будучи мертвым. Благодаря неподвижности мертвеца его скорость стремительно возрастает.

После Мандевиля мы знаем, что источником энергии общества могут быть эксцессы, зло, пороки. Это противоречит экономическому постулату, согласно которому израсходованное должно возмещаться трудом. Мы наблюдаем обратное: чем больше расход, тем больше энергии в обществе. Поэтому следует учитывать именно энергию катастрофы, а не экономический расчет. Определенная доза преувеличения, свойственная духовным процессам, тем не менее позволяет таким образом подходить и к материальным процессам. Людей тоже нельзя понять, исходя из принципа эквивалентности. Так черпают свою энергию жители Нью-Йорка — из зачумленного воздуха, скорости, паники, страха, из нечеловеческих условий существования. Сюда можно добавить наркотики и связанные с ними формы обмена. Все идет в ход, Цепная реакция тотальна. Всякое представление о нормальном функционировании опровергается. Все взаимодействует в общем потоке преувеличения, от которого все получают импульс жизни и вновь тратят полученное как одержимые, с холодной страстью оставшихся в живых. Изымать людей из этого процесса ускорения и растраты было бы двойной ошибкой, так как именно они являются источником аномальной энергии нормального мира, и поэтому они должны меньше двигаться, чтобы больше

накапливать эту необходимую энергию. Чтобы сохранять общественное равновесие, они должны стать актерами городской неутомимости.

Сегодня риск, идущий от человеческой природы, еще меньше, чем тот, который вызывается недостаточностью природных ресурсов. Гораздо больший риск связан с эксцессом, который сходен с безумной независимостью цепной реакции. Это различие является решающим: риск, связанный с недостатками, уменьшает новейшая политическая экология (принципы которой общепризнаны в мире), но она ничто по сравнению с опасным ускорением развития. В определенных странах возможно установление экологического равновесия, а в других движение приводит к дисбалансу. С одной стороны, можно уравновесить этические и материальные принципы, а с другой — бесконечное развитие по направлению к одной цели может привести к адсорбции трансценденции и поглощению ею своих актеров. Очевидно, что охватившая всю планету шизофрения направляет производство на экологию, на стратегию правильного использования и идеальной интеракции человека с природой, и одновременно предприниматели развязывают безудержное производство.

Цель одного движения кажется относительно ясной (спасение природы), но мы ничего не знаем о тайных определенностях другого движения. Не является ли это эксцентрическое движение судьбой человеческого рода, другим символическим отношением человека к миру, гораздо более сложным, чем равновесие и интеракция? Оно таит в себе витальную потребность и тотальный риск.

Может ли тотальный бог экологии справиться с ускорением техники и энергии в направлении непредсказуемого конца или, может быть, мы имеем дело с разновидностью игры, правила которой нам неизвестны? Очевидны перверсивные последствия всех наших мер предосторожности и контроля. Кто знает, к каким опасным последствиям приведут профилактики в экономической, социальной, медицинской, политической сферах: под знаком безопасности может установиться эпидемический террор. Ясно одно: комплексность исходных данных, непредсказуемость всех возможных эффектов не оставляет никаких сомнений относительно ограниченности научных прогнозов. Процессы, в которых как индивиды, так и коллективы выступают своеобразными актерами, дают возможность различия добра и зла только в маленьких ограниченных сферах. В сложных же комплексных общих процессах, где существует непредусматриваемая возможность катастрофы, невозможно требовать, чтобы счастье существовало без несчастья, а добро без зла. Это и есть теорема негативной частицы: нет никакого смысла спрашивать, почему так, а не иначе. Кто задается таким вопросом, впадает в еще большую иллюзию. Это не уменьшает властности в этической, экологической, экономической областях, но релятивирует ее значение в символической сфере, которая является сферой судьбы.

Теорема негативной частицы

Непереработанные продукты позитивности имеют ужасные последствия. Если негативное ведет к кризису и критике, то позитивное — к катастрофе, вызванной невозможностью дозировать кризис и критику. Структура, отбрасывающая негативные элементы, начинает безудержно развиваться и погибает подобно живому организму, который в стерильных условиях полностью теряет иммунитет к болезнетворным бациллам и паразитам, заболевает раком. Поглощая свои антитела, позитивность подвергает организм вирусному риску.

Тот, кто сможет уничтожить неконтролируемые процессы, победит саму смерть. Это теорема негативной частицы. Ее энергия и власть — это принцип зла. Оно проявляет свое упрямство за фасадом истертого консенсуса в вирулентности, ускорении, в эксцессах и парадоксах, в радикальной враждебности, в самостоятельных аттракторах. Принцип зла — не моральный, а системный. Это принцип неустойчивости, принцип комплексности и чуждости, несоединимости, антагонизма и нередуцируемости. Но это и не принцип смерти в противоположность витальному принципу соединения. Согласно легенде о рае и

грехопадении, это принцип познания. Мы выполняем то, что знаем. Любая попытка выкупа незаконной частицы, выкупа принципа зла может привести к появлению искусственного рая консенсуса, управляемого принципом смерти. Анализировать современные системы в их катастрофических формах, в их апориях — значит снова вводить теорему незаконной частицы, значит попытаться учесть ее неразрушимую символическую власть.

Однако принцип зла реализуется не в критической, а в криминальной форме. Ее оправдание невозможно в современном либеральном обществе. Позиция, защищающая злое и бесчеловечное, отвергается обществом на Севере и на Юге, на Западе и на Востоке. Это приводит к тому, что мораль как бы оказывается в башне из слоновой кости и остается неизменной. Мир пребывает в иллюзии прекраснодушия, отвергая субъективную энергию зла. Но она счастливо проживает в самих вещах, как объективная энергия зла. Это и есть незаконная частица, аттрактор, судьба, неопределенность, как элемент патофизики неуправляемых процессов, Эксцентричность нашей системы непреодолима. Гегель испытывал страх перед жизнью, которая движется благодаря тому, что умирает. По ту сторону ее нет никаких воздействий и причин. Ускоряющееся движение смерти — это и есть современная история незаконной частицы. Нужно перегонять события, которые в свою очередь движутся скорее, чем наступает освобождение. Следует признать некогерентность, аномалии, катастрофы, вирулентность как такие экстремальные феномены, которые играют роль как разрушительную, так и правилообразующую.

Зло, как и незаконные частицы, регенерируются в ходе своего осуществления. Это экономично, но неморально, так же как неморальна метафизическая неразделимость добра и зла. Это отнятие власти у разума, но витальность этой власти как последнее основание мы не можем не принять. Всякое освобождение оборачивается добром и злом: освобождается как мышление, так и обыденное сознание, но это часто ведет к катастрофе. Перестройка в СССР, вызванная как этическими, так и политическими принципами, привела к катастрофе, когда возродились архаичные формы разрушения. Род спонтанного терроризма возникает в ходе освобождения и борьбы за права человека. Запрещается цензурой именно то, о чем везде говорят. Поэтому аргумент против сталинизма состоял в ссылке на будущие поколения, которые не должны его повторить, а для этого должны знать правду о кровавых событиях. Так тоталитарный режим сталкивается с универсальным законом информации.

Но это больше, чем снятие цензуры: разрушение, делинквентность, катастрофы в действительности опираются на ширму гласности. Катастрофические следствия возрастают при воодушевлении как друзей природы, так и отрицателей техники. Тотальность добра и зла вырастает из нашей головы, и мы должны ее тотально акцептировать. Кроме этого правила нет иного принципа понимания вещей. Иллюзия разделения добра и зла является абсурдной.

Все роды событий являются непредсказуемыми. Они случаются, когда наступают на нас. Но у нас на глазах есть какая-то линза, которая заставляет нас ценить и принимать только дружественные события. Эту линзу надо повернуть в верном направлении, но мы не знаем, где оно, и часто смотрим в небо. Если речь идет о метафизических событиях, то они на нашей сетчатке вызывают весьма слабые следы. Мы их должны увеличить средствами фотографии. Для того чтобы чужеродные события наступили, нужно изменить наши теории. Нужно создать теории совершенного разрушения и самостоятельных аттракторов.

Где осталось зло?

Во всех своих формах терроризм — это трансполитическое зеркало зла. Отсюда кажущийся единственно правильным вопрос гласит: где еще остается зло? Повсюду мы сталкиваемся с бесконечным искажением современных форм зла. В западном обществе, которое в своих профилакториях занимается умерщвлением своих естественных референций, обеливанием власти, искоренением разного рода незаконных частей и приукрашиванием негативного, в обществе, управляемом дискурсом добра, где больше нет

никаких возможностей проговаривать зло, процветают его все более тайные и вирулентные формы.

Наоборот, Аятолла Хомейни противопоставил всему миру с его политическими, милитаристскими, экономическими тотальными противоположностями единственное и к тому же имматериальное оружие: принцип зла. Он отверг западные ценности прогресса, рациональности, политической морали и демократии. Он отрицал универсалистский консенсус относительно всех этих благ, ввел в действие силы зла, энергию проклятья, блеск и силу незаконных частиц. Только он имеет сегодня слово, ибо противопоставил манихейским позициям свое право говорить зло и устанавливать террор. Что заставило его это сделать, в сущности, не так уж важно. Важно его абсолютное превосходство перед Западом, где больше нет возможностей изрекать зло и где все негативное заглушается виртуальным консенсусом. Даже наша политическая власть стала тенью этой функции, она существует только благодаря символическому осуществлению обозначать другого, чужого, врага. Но сегодня никто на них не указывает, нет больше никаких оппозиций, которые бы дифференцировали добро и зло, У нас осталась самая незначительная сатанинская, ироническая, полемическая энергия, мы стали свято-фанатическим и фанато-святым обществом. Поскольку мы интернировали негативные элементы и опираемся только на позитивные ценности, отсюда мы не имеем иммунитета по отношению к тем вирусам, которые вносит в нашу культуру Аятолла Хомейни. Мы можем противопоставить ему лишь права человека, весьма слабые в качестве иммунной политической защиты. Провозглашая "абсолютное зло" и посылая западному миру свое проклятье, отвергая правила разумного дискурса, он вызвал своим безумством большой страх. Удивило не то, что кто-то буквально и триумфально заговорил на языке зла, несмотря на петиции интеллектуалов. Проклятие было направлено именно на разум и добрую волю. Были мобилизованы все ресурсы зла, чтобы заразить им западное общество. Запад имеет силу оружия, а Восток противопоставил ей символическую власть, которая превосходит оружие и деньги. В определенном смысле — это месть другого мира. Третий мир никогда ничего не мог противопоставить Западу. Но сегодня он стал внушать неуверенность и даже страх. Россия предложила свое посредничество между Востоком Западом после того, как, хотя этого никто не заметил, СССР насаждал пять лет в Афганистане западные ценности. Это непонимание другого дорого обходится и русским, и европейцам.

Эффект удивления и отталкивания вызвал смертный приговор Рушди. Он подобен разрыву корпуса самолета во время полета на большой высоте. Перегородка между двумя пространствами оказалась разрушенной, и все устремилось в пустоту. Необходимо, как это показывают в кино, срочно заткнуть дыру, чтобы снова разделить различные миры. Терроризм, захват заложников — это и есть акт проделывания таких брешей, угрожающих существованию нашего искусного и искусственного универсума. Актуальный ислам, с которым средневековый ислам не имеет ничего общего, и который должен восприниматься не в моральных или религиозных, а в стратегических понятиях, ставит своей задачей методическое проделывание брешей в оболочке западного мира, чтобы выпустить его ценности в пустоту. Ислам не предпринимает каких-либо революционных наступлений на западный мир, он вообще не стремится к его покорению и завоеванию: достаточно дестабилизировать его посредством вирусных инфекций — агрессии зла, которому Запад ничего не может противопоставить. Эти дыры, выпускающие последние остатки настоящих западных ценностей в пустоту, представляют собой самую серьезную угрозу. Запад уже почти утратил свое "горючее вещество" и поэтому должен особо тщательно заботиться о его сохранении.

Стратегия исламистов удивительно современна в противоположность тем, которые пытаются ей противопоставить. Она весьма современна, хотя состоит во вливании незаметных архаических элементов в современный западный мир. Конечно, если бы он был достаточно устойчивым, все это не имело бы ни малейшего смысла. Но наша система чрезвычайно чувствительна к этим вирусам. Отсюда мы переживаем месть другого мира:

есть остатки болезней, эпидемий и идеологий, против которых мы уже беззащитны, и ирония истории состоит в том, что, морально и физически очищая себя, мы оказались бессильны по отношению к этим крохотным микробам.

К опаснейшим видам вируса относятся не только террористы. Заложники тоже стали своеобразными «микробами». Как частицы нашего мира, втянутые в пустоту, они не могут или не хотят вернуться домой не потому, что унижены в собственных глазах, но прежде всего потому, что их страна и сограждане своею пассивностью и ленью коллективно унизили их. Общество проявило невероятную беззаботность в отношении своих отдельных граждан. Безразличность коллектива в отношении индивида дополняется безразличием индивида в отношении коллектива. Отсюда дестабилизация индивида вызывает дестабилизацию системы. Заложники не просто прощаются, а превращаются в героев, для того чтобы о них забыть.

Осторожно, чужое!

Проблема Другого, как и все проблемы, возникают в связи с нехваткой. Другой стал проблемой, когда почти исчез. Что сегодня заняло место врага, чужого, другого, того, с кем приходилось бороться и добиваться признания? По сути, сегодня имеют место взаимоотношения равных. Но как могут быть равны, например, мужчина и женщина?

История представляет собой, как подчеркивал М. Шелер, процесс выравнивания. Действительно, мир постепенно становится демократичнее. То, что было ранее доступно немногим, сегодня доступно всем. Конечно, не стоит недооценивать неравенство и преувеличивать возрастание вертикальной мобильности. В принципе, каждый может добиться самого высокого положения в обществе, но для этого необходимы "равные возможности" и "равные условия". На самом деле большинство людей не располагают необходимым "стартовым капиталом" и не имеют железной воли, здоровья, образования, культуры для осуществления своих планов. Но при всем этом несомненно, что европейская цивилизация, которая начиналась с феодального состояния и колонизации, постепенно пришла к равенству. Нерв сегодняшней проблемы выражает борьба за права человека. При этом речь идет не только о политическом и экономическом равенстве между свободными мужчинами, как в греческом полисе, но и об освобождении женщин, о защите прав детей, стариков, больных, заключенных и даже домашних животных. Вчера (03.02.99) вынужден был уйти в отставку тренер английской команды за то, что высказался об инвалидах в смысле индийской теории перевоплощения: их болезнь является расплатой за грехи в предыдущей жизни. Действительно, общество не прощает своим видным гражданам какого-либо шовинизма. Обычно поражаются соблюдению прав сексуальных меньшинств, но более значимой сегодня является защита детей.

Особого анализа требует отношение европейцев к другим народам, особенно к тем, которые ранее подвергались колонизации и угнетению. Этот процесс был жестоким, и обычно русские историки видят преимущества становления российского государства в том, что оно происходило ненасильственным путем. Но было бы неверно сводить колонизацию исключительно к экономической эксплуатации. Одновременно с плантаторами прибывали миссионеры, которые ставили своей задачей обращение язычников в христиан и осуществляли первичную цивилизацию. Более того, постепенно эта цивилизационная миссия все больше захватывала Запад, и англичане были первыми, кто осудил работорговлю. Сегодня белое население в Европе и в Америке испытывает своеобразный комплекс вины, что выражается в парадоксальном положении, когда цветные действуют по известной формуле прекрасного пола: "Я слабая женщина и меня всякий может обидеть". Это начинает надоедать белым, которые ожидали равенства, а не давления со стороны ранее угнетаемых народов.

Наиболее явным примером несостоятельности такой политики «выравнивания» по отношению к чужому является стратегия помощи странам третьего мира и государствам,

возникшим после распада СССР. Естественно, что слаборазвитые страны нуждаются в экономической помощи. Туда, где люди голодают, необходимо посылать хлеб. Там, где недостаточно развита промышленность, необходимо оказывать финансовую и технологическую поддержку. Однако средства, выделяемые в порядке гуманитарной помощи или для развития экономики, нередко разворовываются или используются неэффективно.

Сегодня в России и на Западе спрашивают, куда ушли миллиарды долларов, предоставленные на развитие экономики в нашей стране? В стране полно ресурсов и они продаются за рубеж, деньги тоже уходят на счета частных лиц. Можно понять возмущение Запада, который, как выразился один русскоязычный реформатор, «кинули» на ГКО, еврооблигациях и т. п. ценных бумагах. Это просто неблагодарно. В самой России постепенно крепнет убеждение, что ей не нужно брать кредиты на Западе, и что ему не нужно их давать. Иногда таких людей называют предателями. Возможно, бывшие реформаторы и нынешние патриоты по разным субъективным причинам отказываются от кредитов. Одни в силу злобной зависти, другие из-за непомерных процентов. Но независимо от этого их одинаковая реакция свидетельствует о несостоятельности самой политики помощи чужому.

Часто вместо экономической Запад оказывает культурную помощь. Известна история, когда в голодающую страну была направлена огромная партия видеокассет с фильмом о правильной посадке проса. Это выглядело как насмешка. Хуже того, ненужными кассетами завладела подпольная фирма, которая записала на них порнофильмы, которые уже пользовались у населения гораздо большим интересом.

Так возникает вопрос о даре. Деррида определил чистый дар как то, о чем не знает ни дающий, ни берущий. Дар — это то, что выпадает из режима экономии, которой подчинены даже правила подарка. Экономическая и культурная помощь одной страны другой — это своеобразный "троянский конь", ибо она преследует цель обращения чужого в свое. Экономический обмен исключает войну и террор и предполагает освоение знаний, технологий, а главное — политических институтов и ценностей демократии, сближает народы. Но если всего этого не происходит, значит, столкнулось нечто абсолютно чужое.

Как жить с чужим? Поражает жестокость, с которой европейцы завоевывали южную Америку. Иногда ссылаются на фанатизм и жестокость испанцев, но надо учесть и особенности индейцев, которые не вступали с ними ни в экономические, ни в культурные отношения. Это так и оставшееся тайной великолепное общество оказалось принципиально чужим и поэтому было уничтожено. Итак, то, что не подлежит освоению, уничтожается, отбрасывается или просто не замечается.

Чем вызваны рецидивы расизма, нацизма, шовинизма, колониализма в развитых европейских странах? Вряд ли дело в биологии или экономике. В XIX веке европейская культура пыталась избавиться от религиозного фанатизма, и ее представители предприняли критику религии. На фоне Просвещения высказывание Маркса о конце критики было непонятным. Критика должна быть перманентной. Маркс отмечал, что метафизическая критика, указывающая на отсутствие трансцендентного основания, недостаточна, если не затрагивает вопрос об условиях воспроизводства религиозного сознания, и поставил вопрос об упразднении самих условий его возможности. Нечто вроде этого необходимо проделать относительно тех форм сознания, возрождение которых в наш просвещенный либеральный век представляется каким-то анахронизмом. Мы совершенно не готовы к появлению нацизма, и старшее поколение возмущается тем, что такое движение стало возможным после разгрома фашизма. Нынешние расизм, фашизм, шовинизм, терроризм являются не неким «пережитком» (так мы в советское время расценивали устойчивость религии и тем самым не вняли совету Маркса о необходимости упразднения условий ее воспроизводства), а внутренним порождением самой системы, основанной на дифференциации.

Проблема различия, как и проблема Другого, давно уже находятся в поле внимания критики, философская теория, признавая дуализм, все свои усилия направляет на то, чтобы

преодолеть его диалектическим, герменевтическим, коммуникативным, деконструктивным и иными методами. Диалектика описывает синтез противоположностей, герменевтика настаивает на понимании Другого и выдвигает диалог, как форму признания; эту стратегию продолжает теория коммуникации, дополняя ее критико-идеологической техникой. Деконструкция, описывая тотальную роль дифференциации, которая задается языком, стремится помыслить мир по ту сторону различия бытия и сущего. Это соответствует демократическим идеалам нашего времени, прилагающего большие усилия для уравнивания прав людей. Наконец, это соответствует технической тенденции эпохи, символом которой является компьютер, который можно сравнить с воплощением той искомой в герменевтике "сути дела", с тем «третьим», на основе которого достигается взаимопонимание в диалоге. Компьютер воплощает мечту логических позитивистов и психоаналитиков. Он говорит на идеальном языке, а язык — это Другой. Но на самом деле он не замечает и не признает Другого. Его гениальность — это болезнь аутизма, когда слышат только самого себя. Этим экран монитора отличается от зеркала, в котором мы видим себя глазами другого. Интерактивные масс-медиа осуществляют философскую утопию коммуникации, в которой уже нет различных, а есть только равные.

Как же в рамках такой стратегии могут возникать перечисленные аномалии? Неужели так бывает, что общаясь с машинами, человек начинает протестовать против них в таких брутальных формах, какими являются расизм, фашизм и терроризм? На самом деле, они не являются порождением реликтовых остатков человеческой природы, а воспроизводятся в самой системе. Дело в том, что равенство — это, так сказать, идеальная цель, а первоначальная утопия строится на допущении дифференциации. И поскольку одна предполагает другую, то демократия требует террора, фашизма и расизма. И если демократия начинает работать вхолостую, т. е. сама на себя, когда она сводится к защите принципов, а не конкретных людей, когда человеческие сострадание, боль, мужество, смелость — все это отмирает по причине ненужности, то система приобретает чудовищное ускорение, в ходе которого возникают турбулентности, угрожающие ее собственному существованию. Наш дискурс сегодня порождает монстров, которые принимаются за реальность. Ссылки на науку не спасают от них, ибо язык науки это тоже утопия. Не случайно расисты и фашисты охотно прибегают к языку биологии, истории, социологии и философии.

Мелодрама дифференциации

Где еще осталось другое? Мы живем после оргии открытия, исследования, нахождения Другого, после оргии различия, билателарной, интерактивной. По ту сторону игры отчуждения (стадия зеркала — наслаждение нашего детства) вросло структуральное различие бесконечного, в моду, нравы, культуру и даже, как чистое другое, в расу, безумие, бедность и смерть. Инаковость осталась как остаток закона спроса и предложения, действующего на рынке. Она стала редкостью. Отсюда ее значимость на бирже структуральных ценностей. Вот откуда симуляция Другого, который сводится к научной фикции, навязывая вопросы: каков и где находится Другой. Эта научная фикция соответствует повседневности, в которой так же правит бал спекуляция, а на черном рынке господствует другость и различие. Экологические поиски, будь то резервация индейцев или положение домашних животных (нулевой уровень друтости), ведутся без того, чтобы предоставить ему подобающее место хотя бы в бессознательном (это последний символический капитал, к трате которого следует относиться особенно осторожно). Так, вступление Другого на деле ведет к его исчезновению, растворению и превращению в своеобразное сырье.

Обычно другое вызывает страх и любопытство, подлежит изучению и отрицанию, освобождению и признанию и т. п, В правах человека необходимо учитывать права другого, как универсальное право на различие. Однако оргия психологического и политического

понимания Другого привела к тому, что он появился там, где его никогда не было. В результате, где был Другой, там воцарилось равное.

Там, где уже ничего нет, должен появиться Другой, Мы переживаем не драму, а психодраму Другого как в сфере социального, так и сексуального, психодраму тела, которая с помощью психоаналитического дискурса переводится в мелодраму. Так друтость становится психодраматической, социодраматической, семиодраматической и мелодраматической. В психодраме уже нет контакта, ибо отсутствие Другого акробатически симулируется и драматизируется. В ходе этой искусственной драматургии повсеместно идет исчезновение Другого. Точно так же субъект становится тождественным субъективности, и это отчуждение продолжается в обществе, где человек, как политическое животное, сводится к его мнению. Он становится транспарентным и интерактивным. Сегодня субъект не имеет Другого, он живет без двойника, даже без тени. Именно такой ценой достигается его высокая коммуникабельность. Интерактивное существо рождается не из новых форм общения, а из-за исчезновения социальности и инаковости. Это другое после смерти Другого, и оно не есть одно и то же, ибо возникает на основе операции отрицания.

Фактически интеракция — это медиум, невидимая машина. Механический автомат еще играет дифференциацией человека и машины. Наши интерактивные автоматы, наши симуляционные автоматы уже не содержат различия. Человек и машина — изоморфны и индифферентны, они не есть друг для друга Другое. Компьютер не имеет Другого. Он не интеллектуален, так как интеллектуальность мы приобретаем благодаря признанию Другого. Именно это является причиной его эффективности, Подобно аутисту, он занят только собой и не принимает во внимание другого, он использует силу абстракции и работает так быстро именно потому, что выталкивает другого. В гомеостазисе равного с равным другому нет места.

Имеется ли тогда хоть где-нибудь друтость, или благодаря психодраме от нее все уже очищено? Имеется физика Другого или только его метафизика? Имеются ли дуальные, недиалектические виды инакости? Имеется ли такая ее форма, как судьба, в которой нет места понятиям психологического или социального партнерства?

Сегодня все выражается в понятии дифференциации. Инаковость — это не дифференциация, которая на самом деле снимает различие. Если язык является системой различий, если смысл редуцируется к дифференциации, тогда радикальная другость уничтожается языком. Дуализм разрешается внутри системы понятий, а все, что не подлежит дифференциации, артикуляции, опосредованию, редуцируется, и язык в его радикальности к Другому оказывается единственным субъектом. Отсюда игра языка задает не только маленькие оппозиции, которые являются предметом структуралистского анализа, но и вводит материальное различие, как символическое замещение жизни и смерти.

Какой смысл имеет утверждение, что женщина — это другое по отношению к мужчине, кроме как подавления другого нормальным и цивилизованным? Можно поставить вопрос: кто по отношению к кому выступает как Другой? Не является ли господин Другим раба? Они проявляются антиподами в классовой борьбе и угнетении, а на уровне понятия их оппозиция редуцируется диалектикой. Вещи и сущности не имплицируют дифференциацию. Символический порядок задает дуальные формы, которые не опираются на различие Я и Другого. Пария не есть Другое брамина, его судьба — другая. Они не могут различаться в рамках одной и той же шкалы, они относятся к несоизмеримым порядкам, где движение дня и ночи не совпадает. Является ночь Другим дня? Это то же самое, как с различием мужского и женского, то и другое — несравнимые порядки. Один пол не сводим и не соизмерим с другим нигде, кроме как в теориях сексуальности, которые в своей основе утопичны. Так и дифференциация есть не более чем утопия, в которой желание состоит в сведении различных понятий друг к другу (так добро и зло разделяются, собственно, для того, чтобы потом достичь их мистического синтеза). Наша культура проникнута утопией преодоления сексуальной дифференциации. Но настоящая сексуальность «экзотична», она связана с радикальной несводимостью полов и порождает не совращение, а лишь отчуждение.

Порядок обмена основан на дифференциации. Но кто определяет обмениваемость? Почему речь идет не о договоре, а о структурной игре дифференциации? Повсюду, где обмен невозможен, возникает террор. Таким образом, радикальное Другое выступает эпицентром террора. Но благодаря другости существует нормальный мир. И тем не менее мир ее отрицает.

За последние десятилетия различные формы Другого были восприняты в дискурсе дифференциации и тем самым признаны и исключены, изучены и дискриминированы. Детство, безумие, первобытное общество — все было интегрировано в рамках универсального понимания. Безумие обретает статус исключительного и оплетается плотной психологической сетью. Однажды в своей идентичности признанная смерть представляется на кладбище, дистанцируется, вплоть до полного растворения лица смерти.

Расизм не существует до тех пор, пока другой остается другим, а чужой чужим. Он начинается с дифференциации, т. е. когда чужое оказывается в опасной близости от своего. Тогда начинают смотреть за тем, чтобы оно оставалось дистанцированным. Расизм — ответ на психодраму дифференциации, порождающей фантазм другого. Психодрама интроекции — тоже следствие столкновения с Другим. Другой, возникающий в ходе материализации различия, по сути дела является продуктом интроекции. Расизм не имеет биологического обоснования, он объективирует референцию, является продуктом логического исследования различий внутри структуральной системы, продуктом фетишизации различия. Так как логика дифференциации в определенном смысле есть универсальная симуляция, она переходит в другие формы и, в частности, дает основание расизму. Благодаря культу дифференциации еще быстрее растут другие аномальные, недоступные критическому разуму формы власти. При этом вопреки дифференциации нарастает гомогенизация, проявляющаяся в росте монструозных метафор, порождающих вирусогенные формы Другого, угрожающие всей системе. Расизм, таким образом, сближается с царством знаков, производящим микроскопические различия, и он непреодолим попытками гуманизации, так как сам является вирусом дифференциации. Расизм в его виральных, имманентных формах показывает, что дифференциация не рождает ничего хорошего. Можно сделать вывод о том, что критика расизма, в сущности, завершилась, как когда-то Маркс констатировал, что критика религии закончилась. Отрицание метафизической гипотезы религии должно привести к поиску способов устранения самих условий ее воспроизводства. Точно так же снятие биологической гипотезы расизма можно считать успешным в том случае, если удастся устранить условия ее возникновения в логике различения. Она не представляет, и это не предусмотрел Маркс в своей критике религии, никаких трансцендентных форм, ибо она имманентна и существует в микроскопических как идеологических, так и практических формах. Расизм сегодня имманентный, вирулентный и повседневный. Направленная против него «научная» критика остается сугубо формальной, так как опирается на биологические аргументы, не осознавая при этом, что «биология» — это тоже иллюзия. Столь же формальна идеологическая и политическая критика, ибо отвергает открытую дифференциацию, не восставая при этом против самой дифференциации как иллюзии. Не удивительно, что расизм, как и религия, спокойно переживают рациональную и материалистическую критику. Этим формам критики нужно положить конец. Нет никакого хорошего способа применения дифференциации. Это подтверждает расцвет расизма в демократическом обществе, гуманистическая и экуменическая критика которого попадает в тупик дифференциации.

Наша плохая совесть функционирует фантазматично. Таков пример со скандалом, когда выяснилось, что афганцы продают на сторону медикаменты, поступившие в порядке гуманитарной помощи. Но не является ли оценка этого как неморального лишь такой реакцией, которая обусловлена нашими представлениями о культурной дифференциации? Так западные ценности приносятся в жертву на алтарь дифференциации.

Другие культуры не признают ни универсального, ни дифференцированного. Они живут исходя из своего своеобразия, не сомневаясь в своих ценностях. Ни не знают

отчуждения, ни не осознают смертельной опасности своих иллюзий. Господство над универсальными символами друтости и дифференциации — это господство над миром. Кто мыслит дифференциацию, положен антропологически. Он имеет те права, которые таким способом находит. Кто не мыслит дифференциацию, кто не играет в ее игру, тот должен быть искоренен. Так поступали испанцы с американскими индейцами, которые не понимали дифференциацию и были радикально другими. Это объясняет, почему испанцы их уничтожали: они не могли их оправдать ни экономически, ни религиозно, ни еще как-либо, они были абсолютными разрушителями, не признававшими дифференциацию. Сложное и таинственное общество индейцев является примером тайны Другого. Кортес, иезуиты, миссионеры, позже антропологи стояли на стороне продажного Другого. Они верили в просвещение и надеялись на правильное применение дифференциации. Но радикально Другое нестерпимо. Если его нельзя освоить, его нужно искоренить. Такое отношение к Другому как к своему или, наоборот, к враждебному, по сути дела и обрекает на стагнацию. Любое общество, если оно хочет сохраниться, вынуждено изменяться в новых условиях. Признавая Другое вне себя, оно может открыть другие возможности внутри себя.

Все что мы видим, далеко не раскрыто. Терроризм как форма трансполитического, спид и рак, как патологические формы, транссексуалы и трансвеститы, как сексуальные и эстетические формы, околдовывают наше внимание. Ни сексуальное освобождение, ни политическое размежевание, ни органические болезни, ни даже конвенциональная война (что в отношении войн крайне благоприятно: многие из них не случились потому, что были неинтересны) никого больше не интересуют. Подлинные фантазмы располагаются в других местах. Они опираются на три формы, каждая из которых — терроризм, трансвестивность и рак — возникают из-за перегрева политической, сексуальной и генетической игры и одновременно вызывают ослабление политического, сексуального и генетического кодов, обрекающего общество на деградацию.

АМЕРИКА

ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА

Caution: objects in this mirror may be closer than they appear[5]

Ностальгия, рождающаяся от необъятности техасских холмов и сьерр Новой Мексики: петляние по автотрассе, суперхиты в стереосистеме «Крайслера», волны раскаленного воздуха — просто в фотографии всего этого не передать, нужен целый фильм о путешествии в реальном времени, в котором запечатлелась бы и невыносимая жара, музыка, — фильм, который потом можно было бы целиком смотреть у себя, в затемненной комнате, вновь ощущая магию автотрассы и расстояния, охлажденного алкоголя в пустыне, скорости, переживая все это на видеозаписи, дома, в реальном времени — не только ради ни с чем не сравнимого удовольствия, которое мы получаем от воспоминаний, но еще и потому, что очарование бессмысленного повторения уже заключено в абстрактности путешествия. Движение пустыни бесконечно близко вневременности фильма.

Сан-Антонио

Мексиканцы — ставшие "чиканос"[6] — служат гидами в Эль Аламо и воздают хвалу героям американской нации, которых доблестно истребляли их же собственные предки; но несмотря на все мужество последних, в конце концов каждый добился своего: сегодня их

---

[5] Предостережение: объекты отраженные в этом зеркале могу оказаться ближе, чем на самом деле (англ.). Примеч. перевод.

[6] Так называют латиноамериканцев, эммигрировавших в Соединенные Штаты. Примеч. перевод.

внуки и правнуки здесь, на поле битвы, прославляют американцев, укравших их землю. История хитра на выдумки. Мексиканцы, которые тайком переходят границу, чтобы найти здесь работу — тоже.

Солт-Лейк-Сити

Помпезная мормонская симметрия; всюду мрамор — безукоризненный и погребальный (Капитолий, орган Центра Посетителей). И вместе с этим лос-анджелесская современность, все необходимые гаджеты абсолютного, инопланетного комфорта. Христианский купол (все изображения Христа здесь смахивают на Бьерн Борг, поскольку скопированы с «Христа» Торвальдсена) представляет собой симуляцию третьего уровня: религия сделалась спецэффектом. При этом весь город содержит в себе прозрачность и нечеловеческие черты внеземного объекта. Симметричная, светоносная, властвующая абстракция. Бой электронных часов разносится по всей территории скинии, сотканной из роз, мрамора и евангелического маркетинга — такова удивительная пуританская обсессия на фоне жары, в самом сердце пустыни, возле озера с тяжелой водой, столь же гиперреальной по причине высокой плотности соли; а дальше — Великая Пустыня, где пришлось изобрести скорость современных автомобилей, чтобы победить абсолютную горизонтальность… Но сам город — словно жемчужина, со своим чистым воздухом и урбанистическими перспективами, от которых захватывает дух и которые еще более прекрасны, чем в Лос-Анджелесе. Удивляющее великолепие и верность современному духу этих мормонов — богатых банкиров, музыкантов, всемирно известных знатоков генеалогий, многоженцев (Эмпайер Стэйт в Нью-Йорке имеет что-то общее с этим похоронным пуританством, возведенным в энную степень x). Транссексуальная капиталистическая надменность мутантов создает магию этого города, так непохожую на магию Лас Вегаса — огромной шлюхи на другом краю пустыни.

Долина Памятников

Мыс Мертвой Лошади

Великий Каньон

Геологическая, а стало быть и метафизическая, монументальность в противовес физической высоте обычных рельефов. Обращенные рельефы, изрытые ветром, водой, льдом, затягивают вас в водоворот времени, в кропотливую вечность медленно разворачивающейся катастрофы. Сама мысль о миллионах и сотнях миллионов лет, которые потребовались на то, чтобы постепенно уничтожить в этом месте земную поверхность, оказывается мыслью перверсивной, ибо она заставляет смутно почувствовать существование знаков, которые задолго до появления человека вышли из своего рода договора об изнашивании и эрозии, заключенного между различными стихиями. К этому гигантскому нагромождению знаков, к этой чисто геологической реальности человек не имеет никакого отношения. Быть может, только индейцы и смогли истолковать малую часть этих знаков. И тем не менее все это знаки. На самом деле внекультурность пустыни только кажущаяся. Вся страна навахо, длинное плато, ведущее нас к Великому Каньону, утесы перед Долиной Памятников, пропасти Зеленой реки (секрет всего этого края скрывается, может быть, в том, что ее рельеф — это рельеф бывшего морского дна, сохранившего по выходе на поверхность свои сюрреалистические океанические очертания), — весь этот край осенен магическим присутствием, не имеющим ничего общего с природой. Очевидно, что потребовалась индейская магия и самая жестокая религия, чтобы победить такой абстрактный масштаб геологического и астрального факта пустыни и жить, соответствуя такому окружению. Что же есть человек, если предшествующие ему знаки обладают такой силой? Человеческая раса должна изобретать жертвоприношения, равные порядку естественных катаклизмов, которые ее окружают.

И может быть, именно эти рельефы, утратившие свою естественность, и дают полное представление о том, что такое культура. Долина Памятников: внезапно возведенный массив языка, в дальнейшем подвергшийся неизбежной эрозии, тысячелетние осадочные образования, глубина которых явилась результатом эрозии (смысл рождается из эрозии слов,

значения — из эрозии знаков) и которые сегодня обречены, как и вся культура, стать заповедником.

Солт-Лейк-Сити: мировые генеалогические архивы, оберегаемые в глубине гротов пустыни мормонами, этими богатыми пуританами-конкистадорами, и Бонвильская трасса, пролегающая по девственно чистой поверхности пустыни, на которой, развиваются самые высокие скорости в мире. Происхождение рода подобно глубине времени, а скорость звука — чистой поверхностности.

Аламогородо: первое испытание атомной бомбы среди Белых Песков, бледно-голубые очертания гор и сотни миль белого песка — ослепляющий неестественный свет бомбы против ослепляющего света земли.

Торреа Каньон: Институт Солка[7] — святыня ДНК и всех лауреатов Нобелевской премии по биологии, здесь, в этом здании из белого мрамора, которое своей архитектурой напоминает дворец Миноса и обращено в безбрежность Тихого океана, взращивается будущая ученая элита…

Это поразительное место, высшие сферы воплощенного вымысла. Возвышенная и трансполитическая зона инопланетного мира, где совпали нетронутое геологическое величие земли и сложнейшие технологии — ядерная, орбитальная, информационная.

Я искал звездную Америку, Америку бесплодной и абсолютной свободы freeways, и никогда — Америку социальную и культурную, Америку скоростей пустыни, мотелей и каменистой поверхности, и никогда — Америку глубинную, Америку менталитета и нравов. В стремительной смене картин, в безразличном свечении телевизора, в череде дней и ночей, проносящихся сквозь пустое пространство, в чудесной безаффектной последовательности знаков, образов, лиц, ритуалов автотрассы я искал то, что ближе всего к той ядерной и вылущенной вселенной, в которую, возможно, вплоть до европейских хижин, превратилась наша вселенная.

Я искал будущую социальную катастрофу в той, что произошла в геологии, в этом выворачивании глубины, о котором свидетельствуют изборожденные пространства, нагромождения солей и камня, каньоны, в которых исчезают окаменевшие потоки, древняя пропасть медлительности, которую создают геологические процессы; я искал это даже в вертикальности мегаполисов.

Об атомном характере этой будущей катастрофы я знал еще в Париже. Но для того чтобы понять это, необходимо отправиться в путешествие, которое реализует то, что Вирилио называет "эстетикой исчезновения".

Ибо, вырастая на глазах, ментальный образ пустыни представляет собой очищенную форму социального дезертирства. Дезаффектация здесь находит совершенную форму в неподвижности. Холод и мертвенность, заключенные в дезертирстве или социальной энуклиации, здесь, в зное пустыни, обретают свой зримый образ. В поперечности пустыни, в иронии геологии трансполитическое обретает свое родовое и ментальное пространство. Бесчеловечность нашего запредельного, асоциального и поверхностного мира сразу же находит здесь свою эстетическую и экстатическую форму. Ибо пустыня — это всего лишь экстатическая критика культуры, экстатическая форма исчезновения.

Значение всех пустынь состоит в том, что они в своей иссушенности оказываются негативом земной поверхности и наших цивилизованных установок. Это место, где рассеиваются страсти, и где прямо от созвездий, настолько чист воздух, нисходит звездное влияние. Может быть, даже существовала определенная необходимость, чтобы индейцы были истреблены, вследствии чего, приоткрылись предшественники более великие, чем человек: минералы, геологические процессы, звездность, нечеловеческая искусственность, сушь, изгоняющая искусственные крупицы культуры, и такая тишина, которой нигде в мире

---

[7] Солк Джонс Эдуард (род. 1914) американский врач и микробиолог, директор Института биологических исследований Солка в калифорнийском университете в Сан-Диего.

больше не существует.

Тишина пустыни одновременно и визуальна. Она создается протяженностью взгляда, который не находит для себя ничего, на чем бы он мог сосредоточиться. В горах вообще не может существовать тишины, поскольку горы кричат своими очертаниями. К тому же, чтобы тишина существовала, необходимо, чтобы и время стало в каком-то смысле горизонтальным, чтобы не существовало никакого отзвука времени в будущем, чтобы остались лишь оседание геологических пластов и исходящий от них каменный гул.

Пустыня: светоносные и окаменевшие сплетения нечеловеческого разума, предельного безразличия — не только неба, но и колебания земных пластов, где кристаллизуются одни метафизические страсти пространства и времени. Здесь ниспровергаются границы желания: каждый день и каждая ночь уничтожает их. Но подождите, пусть наступит утро и вместе с ним проснется каменный гул, пробудится животная тишина.

Скорость создает чистые объекты, и сама по себе она также является чистым объектом, поскольку устраняет поверхность и территориальные референции, ускоряет течение времени, стремясь к его полной отмене, поскольку движется быстрее, чем ее собственное основание, и ускоряет движение, чтобы это основание уничтожить. Скорость — это победа следствия над причиной, триумф мгновения над временем как глубиной, триумф поверхности и чистой объектности над глубиной желания. Скорость создает инициационное пространство, которое может нести в себе смерть и единственный закон которого — стирание следов.

Торжество забвения над памятью, безоглядное опьянение, амнезия. Поверхностность и обратимость чистого объекта в чистую геометрию пустыни. Движение создает своего рода невидимость, прозрачность, внеположенность вещей пустоте. Это своего рода замедленное самоубийство посредством истощения форм, упоительный вид их исчезновения. Скорость не вегетативна, она располагается ближе к миру минералов, к преломлению света в кристалле, и сама по себе оказывается местом катастрофы и поглощения времени. Но, может быть, ее очарование — только лишь очарование пустоты, тогда как соблазняет только тайна. Скорость — инициационное пространство пустоты: ностальгия по возвращению неподвижности, обратная сторона возрастания подвижности. Что-то вроде ностальгии по живым формам в геометрии.

Однако здесь, в этой стране, существует сильный контраст между возрастающей абстракцией атомного универсума и первичной, внутренней, неудержимой витальностью — проистекающей не из укорененности, а из искорененности — метаболической витальностью как в сексе, так и в работе, в телах или дорожном движении, В сущности, Соединенные Штаты со своим пространством, со своей черезвычайной технологической изощренностью и простодушием, включая и те пространства, которые они открывают для симуляции — единственное реально существующее первобытное общество. И все очарование состоит в том, что можно путешествовать по Америке как по первобытному обществу будущего, обществу сложности, смешанности, все возрастающей скученности, обществу жестоких, но прекрасных в их внешнем разнообразии ритуалов, обществу непредсказуемых последствий тотальной метасоциальности, очаровывающего своей имманентностью, и в то же время — обществу без прошлого, которое можно было бы осмыслить, а значит, подлинно первобытному… Первобытность проникла в этот гиперболический и нечеловеческий универсум, который ускользает от нашего понимания и далеко превосходит свои собственные моральные, социальные и экологические основания.

Только пуритане могли изобрести и развить эту экологическую и биологическую мораль самосохранения и, соответственно, мораль расовой дискриминации. Все становится сверхзащищенным природным заповедником, столь опекаемым, что сегодня говорят о денатурализации Йосемитского национального парка и необходимости его возращения природе, как это произошло с племенем тасади[8] на Филиппинах. Пуританская одержимость

8 Племя тасади, сохранившее первобытный уклад жизни, было открыто в 1971 году. Попытки приобщить его

истоками характерна именно там, где больше не существует территории. Одержимость нишей, контактом там, где в действительности все происходит при равнодушном попустительстве звезд.

В обыденности искусственных парадизов, если только они охватывают всю вне-культуру, есть что-то похожее на чудо. В Америке именно пространство порождает разгул обыденности suburbs[9] и funkey towns.[10] Пустыня находится повсюду и спасает незначимое. Пустыня, где чудо автомобиля, льда и виски совершается постоянно: чудо удобства, смешанное с фатальностью пустыни. Собственно американское чудо непристойности: тотальная свобода, прозрачность всех функций пространства, которое тем не менее неупразднимо в своей протяженности и может быть побеждено только скоростью.

Итальянское чудо: чудо сцены.

Американское чудо: чудо обсценного.

Сладострастие смысла против пустынь незначимого.

Метаморфические формы и есть то, что можно назвать магией. Так, это не обычный лес, а лес окаменелостей, минералогический. Это и соляная пустыня, которая белее снега, горизонтальнее моря. Эффект монументальности, геометрии, архитектуры там, где ничего не было задумано или помыслено. Каньонслэнд, Сплит Маунтин. Или наоборот: аморфный рельеф без рельефа, грязевые холмы (Мад Хиллс), сладострастный и окаменевший, лунный рельеф древнего морского дна в монотонных разводах. Белая зыбь Белых Песков… Для того чтобы устранить живописность природы, необходима эта сюрреалистичность элементов, чтобы отменить естественную живописность движения, необходима эта метафизика скорости.

В действительности концепция путешествия без цели и, следовательно, без конца выстраивается лишь постепенно. Отказаться от туристических аватар, разглядывания красот, достопримечательностей, самих пейзажей (остается лишь их абстракция в призме летнего зноя). Нет ничего более чуждого чистому путешествию, чем туризм и досуг. Именно поэтому оно как нельзя лучше реализуется в экстенсивной обыденности пустынь или столь же пустынной обыденности метрополий, которые воспринимаются не как место удовольствий или средоточия культуры, а только лишь телевизуально, как scenery,[11] как сценарии. Именно поэтому, будучи эйфорической формой детерриторизации тела, такое путешествие лучше реализуется при исключительной жаре. Возрастание движения молекул при высокой температуре приводит к незаметному улетучиванию смысла.

Если оставить изучение нравов, то в расчет принимается только лишь безнравственность преодолеваемого пространства. Эта безнравственность, да чистое расстояние, да освобождение от социального — вот что имеет значение. Здесь, в самом высоконравственном обществе, безнравственны пространства. И этот имморализм, который делает расстояние легким, а путешествие бесконечным, освобождает мышцы от усталости.

Движение — зрительная форма амнезии. Все, что возникает — стирается. Конечно существуют первый шок от пустыни и ослепление Калифорнией, но когда все это проходит, путешествие словно вспыхивает с новой силой; с новой силой возникает непомерное, неизбежное расстояние, бессчетность лиц, безымянных просторов или чудесных геологических образований, которые, сохраняя образ разрушений, в конечном счете не являются свидетельством чьей-то воли. Это путешествие не допускает никаких сбоев: когда

к цивилизации привели к необратимым последствиям в укладе жизни этого племени, и было решено предоставить им возможность жить так, как они жили до своего открытия.

9 Пригород (англ.).

10 Клевое, оттяжное место (англ). Слова из хита 70-х.

11 Вид, пейзаж, декорация (англ.).

оно спотыкается о знакомое лицо, привычный пейзаж или попытки расшифровки виденного, все его очарование улетучивается — амнезическое, аскетическое и асимптотическое очарование исчезновения уступает место аффекту и светской семиологии.

Существует внутреннее возбуждение, характерное для такого рода путешествий, и, соответственно, определенный тип усталости. Своего рода лихорадка, вызванная чрезмерной жарой, скоростью, избытком увиденных, воспринятых, покинутых, забытых вещей. Успокаивание тела, утомленного пустотой знаков, функциональными движениями, ослепительным сиянием неба и сомнамбулическими расстояниями — протекает очень медленно. По мере того как культура, наша культура, утрачивает плотность, вещи внезапно делаются легкими, И эта изобретенная американцами зрительная форма цивилизации — форма эфемерная и столь близкая к беспамятству — неожиданно оказывается более близкой к правде, к единственной в своем роде правде жизни, которая нас подстерегает. Форма, преобладающая на американском Западе, и, вероятно, во всей американской культуре — форма сейсмическая: это расчлененная, промежуточная культура, вышедшая из разломов древнего мира, культура тактильная, хрупкая, непостоянная, поверхностная — и, чтобы уловить ее игру, нужно двигаться, соблюдая эти правила: сейсмический сдвиг, экологически чистые технологии.

В этом путешествии передо мной встает лишь один вопрос: насколько далеко можно зайти в истреблении смысла, до какого предела можно двигаться в безреферентной форме пустыни, не рискуя при этом лопнуть, как мыльный пузырь, и, конечно же, сохраняя при этом эзотерическое очарование исчезновения? Теоретический вопрос в данном случае материализуется в объективных условиях путешествия, которое уже путешествием не является и подчинено основополагающему правилу: правилу точки невозвращения. В этом вся суть вопроса. И решающий момент наступает тогда, когда внезапно становится очевидно, что оно не имеет конца, и что у него вообще нет основания закончиться. За определенной точкой меняется само движение. Движение, которое само по себе проходит сквозь пространство, оказывается поглощенным самим пространством: конец сопротивления, конец собственно сцены путешествия (точно так же реактивный двигатель, не имеющий больше энергии для покорения пространства, но толкающий себя вперед, создает перед собой пустоту, которая поглощает его, вместо того, чтобы, в соответствии с традиционной схемой, найти опору в сопротивлении воздуха). Таким образом достигается центробежная эксцентричная точка, в которой движение производит пустоту, которая вас и поглощает. Этот головокружительный момент есть в то же время и момент потенциальной слабости. Она не вызвана усталостью от расстояний и жарой, это не результат движения в реальной пустыне пространства; она возникает из-за необратимого движения в пустыне времени.

НЬЮ-ЙОРК

Tomorrow is the first day of the rest of your life.[12]

Воздухоплавающий миссионер безмолвствующих большинств и фатальных стратегий, с кошачьей ловкостью прыгающий из одного аэропорта в другой; сегодня — это лес огней Нью-Хэмпшира, мгновенный отблеск в зеркале Новой Англии, вчера — это плавная вертикаль небоскребов, завтра будет Миннеаполис с названием столь благозвучным, состоящим из паутинообразной цепочки гласных, полугреческих, полуиндейских, которые напоминают очертания сверкающих ледников на горизонте обитаемого мира… Говоря о молчании масс и конце истории, вбирая необъятность и лучезарность озера, веет нестихающий ветер, стремясь на восток, где исчезает ночь. Самолеты бесшумно, как ветер,

---

12 Завтра — первый день оставшейся тебе жизни (англ.).

проносятся за окнами отеля, и первые рекламы постепенно начинают зажигаться над городом. Как чудесна Америка! На всем печать бабьего лета, прелесть которого — в ожидании первого снега. Но где же десять тысяч озер, где же утопия эллинистического города, граничащего со Скалистыми горами? Эх, Миннеаполис, Миннеаполис! После патрицианской изысканности и женственной мягкости бабьего лета в Висконтине Миннеаполис предстает лишь бесцветным сельским конгломератом, ожидающим зимы и холодов посреди своего силоса и охотничьих угодий, которые составляют предмет здешней гордости. Но в сердце этой американской глубинки находится бар «Коммодор» с самым прекрасным оформлением в мире, куда, как рассказывают, каждый вечер заходил выпить Фитцжеральд. Теперь здесь пью и я. Завтра на самолете я перенесусь в другой предел поверхностного, расового, эстетического и господствующего края, одновременно наследующего Афинам, Александрии, Персеполю — в Нью-Йорк.

Нью-Йорк

Днем и ночью количество сирен возрастает. Машины мчатся быстрее, реклама более агрессивна. Проституция, как и электрический свет, повсеместна. И игра, все игры становятся более напряженными. Так бывает всегда, когда приближаешься к центру мира. Но люди улыбаются, они улыбаются все больше и больше, никогда друг другу, всегда самим себе.

Ужасающее разнообразие лиц, их странность, на всех застыло непостижимое выражение. Маски, которые в архаичных культурах изображают старость или смерть, здесь — у молодых, в двадцать, в двенадцать лет. Но в этом есть что-то общее с самим городом. Красота, которую другие города достигают в течение столетий, здесь сформировалась за пятьдесят лет.

Дымчатые стекла уличных фонарей напоминают купальщиц, которые выжимают свои волосы. Шевелюры в стиле афро или прерафаэлитов. Банально, многорасово. Город фараонов, весь в обелисках и указателях. Здания вокруг Центрального Парка, словно опорные арки — необъятный парк принимает благодаря им вид висячего сада.

В вышине плывут не облака, а мозг. Облака, подгоняемые ветром, скользят над городом, как полушария головного мозга. В головах людей — перистые облака, которые выплывают через их глаза как вязкие испарения, поднимающиеся от изрытой теплыми дождями земли. Сексуальное одиночество облаков в небе, лингвистическое одиночество людей на земле.

Поражает количество людей, которые думают в одиночестве, которые поют одни, едят одни или разговаривают сами с собой на улицах. Они, тем не менее, никак не пытаются объединиться. Напротив, они избегают друг друга, и сходство между ними неопределенно.

Но каждое отдельно взятое одиночество не похоже на другое. Одиночество человека, который, примостившись у стены, на капоте машины, около решетки, готовит у всех на виду себе пищу — единственное в своем роде. Здесь это встречается повсюду: самая печальная сцена в мире, она печальнее, чем нищета; тот, кто на людях ест в одиночестве, еще печальнее, чем тот, кто собирает милостыню. Ничто так не противоречит законам человеческим и животным: животные всегда с гордостью делят добычу или сражаются за нее. Тот, кто ест в одиночестве, — мертв (но не тот, который пьет один, почему?).

Почему люди живут в Нью-Йорке? Они никак не связаны между собой. Их объединяет разве что внутренняя наэлектризованность, происходящая от их скученности. Магическое ощущение смежности и притяжения во имя искусственной централизованности. Вот, что создает самопритягивающийся универсум, покинуть который никто не имеет достаточных оснований. Кроме этого экстаза скученности нет никаких человеческих оснований находиться там.

Красота черных и пуэрториканцев в Нью-Йорке. Помимо сексуального возбуждения, которое создает смешение рас, необходимо сказать, что черное, пигмент темных рас, оказывается как бы естественным гримом, который усиливается искусственным гримом для создания красоты — не сексуальной, а животной и возвышенной, которой так безнадежно не

хватает бледным лицам. Белизна является как бы измождением физической красоты, нейтральностью, которая, может быть, благодаря этому получает всю экзотерическую власть Слова, но которой, в сущности, всегда пренебрегает эзотерическое и ритуальное могущество искусства.

В Нью-Йорке существует двойное чудо: каждое из больших зданий властвует или когда-нибудь властвовало над городом; каждый этнос царит или однажды царил — и те, и другие делают это по-своему. Скученность придает блеск каждой из этих составляющих, тогда как в других местах она ведет просто к сглаживанию различий. В Монреале существуют все эти элементы — этносы, здания, североамериканское пространство, но не хватает того блеска и силы, которое свойственно городам Соединенных Штатов.

В Европе тучи только напрасно скрывают от нас небо. В сравнении с безграничными небесами Северной Америки, с их тучами, наше крохотное небо со своими облачками и наши тучки являют собой образ нашего низкооблачного мышления и никогда — мышления пространством. В Париже небо никогда не отрывается от земли, оно не парит, оно дано как бы в обрамлении хилых зданий, которые заслоняют друг друга, как мелкая частная собственность, вместо того чтобы отражать друг друга в головокружительных зеркальных фасадах, как в великой столице Нью-Йорк… И вот, что начертано в небесах: Европа никогда не была континентом. Но как только ваша нога коснется Северной Америки, вы сразу ощутите присутствие целого континента: там пространство — это само мышление.

В сравнении с даунтауном и ансамблем американских небоскребов Ля Дефанс уже не производит архитектурного эффекта вертикальности и необъятности, сжимаясь всеми своими зданиями до пространства итальянской сцены, являя собой закрытый театр, окруженный бульваром. Что-то вроде французского сада: букет зданий, опоясанный лентой. Это противоречит возможности американских монстров, порождающих до бесконечности себе подобных, бросать друг другу вызов в пространстве, которое благодаря этому состязанию обрело драматизм (Нью-Йорк, Чикаго, Хьюстон, Сиэтл, Торонто). Здесь рождается чистый архитектурный объект, ускользающий от архитекторов, объект, который, в сущности, категорически отрицает город и назначение, отрицает интересы общества и индивидуума, упорствуя в своем исступлении, и в спеси равный лишь городам эпохи Возрождения.

Не стоит очеловечивать архитектуру. Подлинная анти-архитектура вовсе не в Аркозанти или Аризоне, где в самом сердце пустыни собраны экологически чистые технологии, — нет, дикая, нечеловеческая архитектура, которая превосходит человека и не принимает в расчет никакие ниши, уют или идеальную экологию, создается только здесь, в Нью-Йорке. Она использовала высокие технологии, она преувеличила все размеры, она поспорила с небом и адом… Эко-архитектура, как эко-общество — мягкий ад Нижней Империи.

Чудо современного сноса зданий. Это вывернутое наизнанку зрелище запуска ракеты. Двадцатиэтажное здание целиком, вертикально, скользит к центру земли. Оно оседает прямо, как манекен, не теряя своего вертикального положения, как если бы спускалось по трапу, и находящаяся под ним земная поверхность поглощает его обломки. Вот чудесное искусство современности, с которым могут сравниться только лишь фейерверки из нашего детства.

Говорят: в Европе улица живая, а в Америке — мертвая. Это неправда. Нет ничего более напряженного, более наэлектризованного, более витального и более подвижного, чем улицы Нью-Йорка. Толпа, уличное движение, реклама оккупируют улицу то агрессивно, то развязно. Улица заполнена миллионами слоняющихся, равнодушных, агрессивных людей, которым словно больше нечем заняться — возможно, они действительно нужны только для того, чтобы творить сценарий повседневной жизни города. Повсюду музыка, интенсивное движение, сравнительно быстрое и бесшумное (оно совсем не похоже на нервозное и театральное движение по-итальянски). Улицы, авеню никогда не пустеют, но ясная и раскованная геометрия города непохожа на артериальное переплетение европейских улочек.

В Европе улица живет лишь урывками, в исторические моменты, революции, на

баррикадах. В другое время люди проходят их быстро, по ним никто не бродит (никто не прохаживается). Они сродни европейским машинам: никто в них не живет, для них не хватает пространства. Недостает пространства и городам — или, скорее, это пространство считается общественным, ему присущи знаки публичной сцены, что не позволяет двигаться по нему как по пустыне или безразличному пространству.

Американская улица, может быть, и не знает исторических моментов, но она всегда оживлена, витальна, кинетична и кинематична, по образу и подобию самой страны, где мало принимается в расчет собственно историческая и политическая сцена, но где перемены, как бы они ни обеспечивались технологиями, расовыми различиями, масс-медиа, распространяются с силой вирусной инфекции: это сама сила образа жизни.

В Нью-Йорке коловращение жизни настолько сильно, центробежная сила так велика, что кажется чем-то сверхъестественным думать о жизни вдвоем, о том, чтобы разделить еще чью-то жизнь. Способны выжить только различные сборища, банды, мафия, общества посвященных или извращенцев, но не семейные пары. Это своего рода анти-ковчег, полная противоположность тому, в котором было собрано каждой твари по паре, чтобы спасти животные виды от потопа. Здесь, в этом волшебном ковчеге, всех по одному и каждый вечер этим одиночкам надо искать последних уцелевших для последнего пати.

В Нью-Йорке сумасшедшие свободны. Выпущенные на улицы, они не так уж отличаются от панков, джанков, торчков, алкоголиков, нищих, которые его заполняют. Непонятно, с чего бы вдруг город, столь же безумный, стал бы держать своих сумасшедших взаперти, зачем ему лишать перемещения этих образчиков безумия, если оно, в той или иной форме, уже захватило весь город.

Гимнастика в стиле рэп — это своего рода акробатическое геройство, где только в конце становится ясно, что это танец, в тот момент, когда танцор застывает в апатичной, безразличной позе (локоть на земле, голова небрежно опирается на ладонь: поза, напоминающая изображения на этрусских гробницах). Эта внезапная неподвижность заставляет вспомнить китайскую оперу. Но китайский воин застывает в высшей точке действия, в героическом жесте, тогда как рэппер — в исчерпанности своего движения, в жесте ничтожном. Можно сказать, что, скручиваясь спиралью и завязываясь в узел на уровне земли, рэпперы создают пустоту внутри своего тела, в глубине которой они принимают ироническую и ленивую позу смерти.

Никогда бы не подумал, что нью-йоркский марафон способен вызвать слезы. Это зрелище конца света. Можно ли говорить о добровольном страдании, как о добровольно взятой на себя обязанности? Они бегут под проливным дождем, под вертолетами, под аплодисменты, в своих алюминиевых капюшонах, постоянно поглядывая на хронометр, бегут полуобнаженные, закатив глаза, ища смерти, смерти через истощение, которая напоминала бы смерть того, кто умер десять тысяч лет назад, и кто, не стоит этого забывать, принес в Афины весть о победе. Может быть, они тоже мечтают принести победную весть, только теперь она будет посланием слишком многих и не будет иметь уже никакого смысла: это будет весть о самом их прибытии, весть, венчающая их усилия — сумеречное сообщение о сверхчеловеческом и бесполезном усилии. Все вместе они, скорее, принесли бы весть о конце человеческого рода, ибо видно, как он вырождается с приближением к финишу — от первых, хорошо сложенных, которые еще могут бороться, до совершенно выдохшихся, которых друзья буквально несут к финишной черте, и калек, которые тащатся на своих инвалидных креслах. Их — бегущих — 17 тысяч, и это напоминает настоящую битву при Марафоне, где даже и не было 17 тысяч сражающихся. Их 17 тысяч, и каждый бежит сам по себе, не думая о победе, бежит только ради того, чтобы ощутить свое существование.

"Мы победили!" — шепчет, испуская дух, вестник из Марафона. "I did it!",[13] выдыхает измученный марафонец, падая на лужайку Центрального Парка.

---

[13] Я сделал это! (англ.).

I DID IT!

Лозунг новой разновидности рекламы, аутистического шоу, чистой и пустой формы, вызова самому себе, который заменил прометеевский экстаз соревнования, старания и успеха.

Нью-йоркский марафон стал своего рода интернациональным символом этого фетишизированного представления, горячки бессмысленной победы над пустотой, экзальтации бессмысленного геройства.

Я бежал в нью-йоркском Марафоне: I did it!

Я взошел на Аннапурну:[14] I did it!

Высадка на Луне это тоже самое: We did it! Событие, в сущности, не столько захватывающее, сколько запрограммированное развитием науки и прогресса. Надо было это сделать. И мы это сделали. Но это событие не разбудило тысячелетнюю мечту человека о пространстве, оно в каком-то смысле исчерпало ее. Тот же эффект бесполезности заложен в реализации любой программы, как во всем, что делается ради того, чтобы доказать, что мы могли это сделать: дети, покорения вершин, сексуальные подвиги, самоубийство.

Марафон — это демонстративная форма самоубийства, форма его рекламы: бегут для того, чтобы доказать, что мы способны дойти до конца самих себя, чтобы доказать… но доказать что? Что в состоянии дойти. Граффити тоже не говорят ничего другого, кроме как: "Меня зовут так-то, и я существую!" Граффити делают экзистенции бесплатную рекламу!

Но надо ли постоянно доказывать, что ты живешь? Странный знак слабости, предвестник нового фанатизма, знак представлений без лиц, демонстрирования без конца.

Mystic transportation incorporated

Сине-зеленый грузовик, сверкающий хромовыми частями, едет по седьмой авеню под первыми утренними лучами солнца по свежевыпавшему снегу. На его бортах большие позолоченные буквы: MYSTIC TRANSPORTATION.[15]

В этом весь Нью-Йорк и его мистическая точка зрения на декаданс: здесь кажутся возможными любые эффекты, от возвышенной вертикальности до гниения почвы, всевозможные спецэффекты скученности рас и властей; это четвертое измерение города.

Дальше города станут экстенсивными и неурбанистическими (Лос-Анджелес), еще позже они спрячутся и не будут иметь даже имен. Все станет убаюканной искусственными светом и энергией инфраструктурой. Сверкающая суперструктура и безумная вертикальность исчезнут. Нью-Йорк — последний избыток этой барочной вертикальности, этой центробежной эксцентричности, перед торжеством горизонтальности и имплозией.

Благодаря чудесному соучастию всего населения Нью-Йорк превращает в комедию собственную катастрофу, и это свидетельство, скорее, не упадка, а могущества, которому ничто не угрожает извне — поскольку ему вообще ничто не угрожает. Его плотность, его поверхностная наэлектризованность отвергают саму идею войны. Каждодневное возобновление жизни — своего рода чудо, ведь столько энергии тратится накануне. Его напряжение предохраняет жизнь, как вольтов купол, от всех внешних угроз. Правда не от внутренних аварий, таких как blackout 76,[16] которые оно, однако, превращает в катастрофы

---

[14] Горный массив в Гималаях, на котором в 50-х годах впервые побывали французские альпинисты.

[15] Мистические перевозки (англ.).

[16] Нарушение электроснабжения, произошедшее в 1976 году, когда на несколько дней крупнейшие американские города остались без света.

мирового масштаба, еще больше способствуя мировой славе города. Эта централизованность и эксцентричность могут сообщить ему исступленное ощущение собственного конца, который нью-йоркская «сцена» лишь эстетически транскрибирует в своих психозах, в своем агрессивном экспрессионизме, и который коллективно культивируется всем городом в техническом буйстве вертикальности, в ускорении обычной жизни, в подвижности счастливых или несчастных лиц, в дерзости жертвы, приносимой человеком чистому движению.

Никто не смотрит на вас, все захвачены страстным напряжением своих безличных ролей. В Нью-Йорке не видно полицейских — в других местах именно полицейские придают современный урбанистический вид еще наполовину деревенским городам (Париж — хороший тому пример). В Нью-Йорке урбанистичность настолько высока, что нет никакой необходимости как-то ее особо выражать или сообщать ей политический характер. Впрочем, Нью-Йорк уже не политический город; волеизъявления той или иной идеологической группы редки и всегда малозначительны (этнические группы выражают себя в форме праздников и чисто расовой демонстрации своего присутствия). Напряжение не выражает напряжения отдельных социальных отношений, оно — сила всех отношений и носит чисто экспоненциальный характер. Даже сексуальность, как форма выражения, каким-то образом преодолена, и хотя она постоянно афишируется, у нее больше нет времени на то, чтобы материализоваться в виде человеческих и любовных отношений; сексуальность растворяется в постоянной скученности, в многочисленных эфемерных контактах. В Нью-Йорке ощущение величия существует в том смысле, что вы чувствуете себя овеянными коллективной энергией всех; мрачная картина перемен в Европе — здесь эстетическая форма мутации.

В Европе мы владеем искусством мыслить о вещах, анализировать их, думать о них. Никто не может отказать нам в исторической проницательности и концептуальном воображении, которому интеллектуалы завидуют и по ту сторону Атлантики. Но неопровержимые истины, чудесные следствия современности находятся на краю Тихого океана или в Манхэттене. Нью-Йорк, Лос-Анджелес находятся в центре мира, это следует признать, даже если в этом есть нечто, что одновременно и воодушевляет, и разочаровывает. Мы безнадежно отстаем от их ограниченности, их способности к переменам, от наивного отсутствия чувства меры и социальной, расовой, морфологической, архитектурной эксцентричности их общества. Никто не в состоянии проанализировать все это в полной мере, и меньше всего — американские интеллектуалы, запертые в своих кампусах, драматически чуждые конкретной, невероятной мифологии, которая творится вокруг.

В этом обществе, полностью погрязшем в богатстве, могуществе, старости, равнодушии, пуританстве, ментальной гигиене, нищете и расточительности, технологической тщете и бесполезной силе, я не могу не увидеть утренний воздух мира. И, может быть, весь мир продолжает грезить о нем даже тогда, когда подавляет его и эксплуатирует.

На высоте десять тысяч метров, при скорости в тысячу километров в час подо мной проплывают льды Гренландии, в наушниках звучит Indes Galantes, на экране — Катрин Денев, какой-то старик — армянин или еврей — спит, опустив голову на мои колени. "Да, я чувствую всю силу любви", — поет чей-то божественный голос, перелетая из одного часового пояса в другой. В самолете люди спят, скорость не ведает силы любви. Между той ночью, из которой я вылетел, и той, в которую я приземлюсь, день продлится только четыре часа. Но божественный голос, голос бессонницы летит еще быстрее, он пересекает ледяную атмосферу над океаном, движется по длинным ресницам актрисы, по сиреневому горизонту, над которым встает солнце, попадает в теплый саркофаг реактивного самолета, и, наконец, гаснет на просторах Исландии.

Итак, путешествие закончилось.

ЗВЕЗДНАЯ АМЕРИКА

Звездная Америка. Лирика чистого движения. Против меланхолии европейского анализа. Мгновенный шок векторности, сигналитичности, вертикальности, пространственности. Против лихорадящей отстраненности культурного взгляда.

Радость крушения метафоры, к которой мы прибегаем только во время траура. Ликование непристойности, непристойность очевидности, очевидность могущества, могущество симуляции. Против нашей обманутой невинности, против пропасти наших аффектаций.

Шок. Шок горизонтальности — в автомобиле, шок высотности — в самолете, шок электронный — в телевидении, шок геологический — в пустыне, шок стереолитический — в мегаполисах, шок трансполитический — в игре могущества, музее могущества, которым стала Америка для всего остального мира.

В Америке для меня не существует истины. От американцев я требую только лишь быть американцами. Я не требую от них интеллигентности, здравомыслия, оригинальности, я только хочу, чтобы они населяли пространство, не имеющее ничего общего с моим, только прошу быть для меня недосягаемым заоблачным краем, самым прекрасным орбитальным пространством. Зачем же стремиться за пределы центра во Франции, перемещаясь в локальное этническое пространство, если оно само является лишь малой частью и остатком центральности. Я хочу экс-центрироваться, стать эксцентричным, но только там, где находится центр мира. И в этом смысле последний fast-food и самый банальный suburb, зауряднейшие американские машины-громадины или самые ничтожные персонажи из комиксов — все это оказывается ближе к центру мира, чем любые культурные манифестации старой Европы. Это единственная страна, которая дает право на существование неприкрытой естественности, вы требуете от вещей, лиц, небес и пустынь быть только тем, что они есть, just as it is.[17]

В Америке у меня всегда возникает впечатление подлинного аскетизма Культура, политика, а вместе с ними и сексуальность, подчинены исключительному зрелищу пустыни, которая составляет здесь первосцену. Все исчезает перед ней, даже тело, как бы вследствии истощения, и все становится прозрачным, обретает легкость, близкую к небытию. Все, что меня окружает, участвует в этом разрастании пустыни. Но только это радикальное экспериментаторство и позволяет двигаться дальше, открывая ту звездность, которую я не найду больше нигде.

Америка — не сновидение, не реальность, Америка — гиперреальность. Она гиперреальна, поскольку представляет собой утопию, которая с самого начала переживалась как воплощенная. Все здесь реально, прагматично и в то же время все погружает вас в грезу. Возможно, истина Америки может открыться только европейцу, поскольку он один в состоянии найти здесь совершенный симулякр,[18] симулякр имманентности и материального воплощения всех ценностей. Американцы не имеют никакого понятия о симуляции Они представляют собой ее совершенную конфигурацию, но, будучи моделью симуляции, не владеют ее языком. Они представляют собой идеальный материал для анализа всех возможных вариантов современного мира. Впрочем, ни больше ни меньше, чем в свое время таким материалом служили первобытные общества. То же самое мифическое и

---

[17] Просто как оно есть (англ)

[18] Симулякр (лат. simulacrum) — подобие, видимость — одно из ключевых понятий постмодернистской французской философии, возникшее в связи с проблемой различия и тождества, соотношения копии и оригинала Симулякр — это фантом сознания, кажимость, то что воспроизводит образ объекта вне его субстанциальных свойств. А. Гараджа пишет о концепции Бодрийяра "Современный мир состоит из моделей и симулякров, не обладающих никакими референтами, не основанных ни на какой реальности, кроме их собственной, которая представляет собой мир самореферентных знаков Симуляция, выдавая присутствие за отсутствие, одновременно смешивает всякое различие реального и воображаемого".

аналитическое воодушевление, которое некогда приковывало наш взгляд к этим ранним обществам, побуждает нас сегодня, с тем же пылом и теми же предрассудками, вглядываться в Америку.

В действительности, здесь, как я надеюсь, мы не дистанцируемся от Европы, не становимся на более отчужденную точку зрения. Просто когда вы оборачиваетесь, то оказывается, что Европа исчезла. Поэтому речь не идет о том, чтобы занять критическую позицию в отношении Европы. Это вполне успешно делается и в ней самой, да и надо ли критиковать то, что уже и так критиковалось тысячи раз? Необходимо другое войти в вымысел Америки, в Америку как вымысел. Это позволяет ей править миром И пусть каждая черта Америки совершенно лишена всякого значения, сама Америка — нечто, что превосходит всех нас.

Америка представляет собой гигантскую голограмму в том смысле, что информация о целом содержится в каждом из ее элементов. Возьмите крошечную стоянку в пустыне, любую улицу любого городка Среднего Запада, парковку, любой калифорнийский дом, Бургеркинг или «студебеккер» — и перед вами вся Америка юга, севера, востока и запада. Америка — голограмма в смысле однородности света лазера, гомогенности простых элементов, собранных одними и теми же световыми пучками. Если посмотреть с визуальной и вместе с тем пластической точки зрения, то создается впечатление, что вещи сделаны из совершенно нереального материала, что они поворачиваются и передвигаются в пустоте словно благодаря специальному световому эффекту, пленке, сквозь которую они проходят, не замечая ее. Это, разумеется, относится к пустыне, но точно так же и к Лас Вегасу, рекламе, к деятельности людей, к паблик рилейшенз, бытовой электронике, все это вырисовывается с пластичностью и очевидностью светового сигнала. Голограмма близка к фантазму, это трехмерное сновидение, и мы можем войти туда как в сновидение. Все держится на существовании светового луча, который несет в себе вещи; если он исчезнет, все эффекты, как и сама реальность, рассеятся. Итак, возникает впечатление, что Америка сделана из фантастических соединений сходных элементов, и все держится на нити лазерного луча, который на наших глазах создает американскую реальность. Спектральное здесь не фантомно, это не танец призраков, а спектр рассеивания света.

На благоухающих холмах Санта-Барбары все виллы напоминают funeral homes.[19] Здесь, среди гардений и эвкалиптов, в изобилии видов растительности и однообразия человеческого вида, зловещая судьба реализованной утопии. В этом средоточии богатства и свободы всегда стоит один тот же вопрос: "What are you doing after the orgy?".[20] Что делать, когда все доступно: секс, цветы, стереотипы жизни и смерти? Вот в чем проблема Америки, которую унаследовал весь остальной мир.

Все дома мертвенны, и ничто не нарушает этого искусственного спокойствия. Отвратительная вездесущность зеленых насаждений как навязчивая мысль о смерти, застекленные проемы, напоминающие хрустальный гроб Белоснежки, массивы бледных и низкорослых цветов, расползающихся подобно рассеянному склерозу, бесконечное ветвление проводов над, под, вокруг дома, напоминающих катетеры в реанимационном отделении госпиталя, ТВ, стерео, видео, которые устанавливают контакт с внешним миром, машина, машины, обеспечивающие связь с погребальным торговым центром, супермаркетом, наконец, жена и дети как наглядные признаки успеха, — все здесь говорит о том, что смерть в конце концов нашла себе идеальное пристанище.

Микроволновые печи, мусороперерабатывающие агрегаты, оргазменная упругость мебельной обивки: этот образ пляжной и изнеженной цивилизации упорно напоминает конец света. Все формы здешней активности несут на себе отпечаток конца света: калифорнийские

---

[19] Место, где происходит гражданская панихида (англ.)

[20] Что вы делаете после оргии (англ.).

эрудиты, свихнувшиеся на латыни или марксизме, многочисленные секты девственников или злодеев, сомнамбулические джоггеры в тумане, тени, сбежавшие из платоновской пещеры, настоящие дебилы или дауны, удравшие из психиатрических лечебниц (сумасшедшие, которые живут в городе на свободе, также представляются мне верным признаком конца света, последней печатью Апокалипсиса), толстяки, вырвавшиеся из гормональных лабораторий собственных тел, автозаправочные станции — oil sanctuaries[21] — сверкающие в темноте, как казино или корабли инопланетян.

Восхитительный гиперреализм
Экстатическая аскеза
Мультипроцессорный тревелинг
Интерактивная многомерность
От чего ловить кайф
Western Digitals
Body Building Incorporated
Mileage illimited
Chennel Zero

Подозрительный бар Санта-Барбары. Красные подтяжки игрока в бильярд. Фуко, Сартр, Орсон Уэлс — все трое там, в баре, говорят одновременно, с потрясающим сходством и со странной убедительностью. Cocktail scenery.[22] Аромат насилия, пивной дух. Hustling is prohibited.[23]

Секс, пляж и горы. Секс и пляж, пляж и горы. Горы и секс. Какие-то понятия. Секс и понятия. Just a life.[24]

Все схватывается через симуляцию. Пейзажи — через фотографию, женщины — через сексуальный сценарий, мысль — через письмо, терроризм — через моду и масс-медиа, события — через телевизор. Кажется, что вещи существуют единственно ради этого странного предназначения. Можно даже задаться вопросом, не существует ли сам этот мир только как реклама, созданная в каком-то другом мире.

И коль скоро единственная в своем роде красота рождена посредством пластической хирургии тела, коль скоро единственная в своем роде урбанистическая красота создана эстетическим препарированием зеленых пространств, а мнение посредством пластической хирургии исследования…то теперь настает время генетических преобразований, время пластической хирургии вида.

И вот культура, которая в одно и то же время изобретает специализированные институты для соприкосновения тел, и кастрюли, в которых вода не соприкасается с дном, поскольку оно изготовлено из настолько однородного, сухого и искусственного материала, что ни одна капля не прилегает к нему, точно так же как ни на одно мгновение не соприкасаются тела, сплетенные в приливе feeling[25] и терапевтической любви. Это называется интерфейс, или взаимодействие. Это вытеснило встречу лицом к лицу, поступки и получило название коммуникации. Ибо происходит сообщение: чудо состоит в том, что основание кастрюли сообщает свою температуру воде, не соприкасаясь с ней, производя что-то вроде кипячения на расстоянии, точно так же как тело сообщает другому свои флюиды,

---

[21] Нефтяные святилища (англ.).

[22] Коктейль пати (англ.).

[23] Проституция запрещена (англ.)

[24] Просто жизнь (англ.)

[25] Чувство (англ.).

свою потенциальную эротичность за счет своеобразной молекулярной капиллярности, не соблазняя и не волнуя его. Код разделения работал так основательно, что произошло отделение воды от кастрюли, и она стала передавать тепло как послание, или некое тело передает свое желание другому как послание, как подлежащие расшифровке сигналы. Это называется информацией, и это проникло повсюду как фобический и маниакальный лейтмотив, касающийся как эротических отношений, так и кухонной утвари.

И вновь то же стремление к стерильности.

Музей Гетти, где старые картины выглядят как новенькие — блестящие и обесцвеченные, очищенные от налета времени и мелких трещин, в искусственном блеске показухи "pompeian fake",[26] который их окружает.

В Филадельфии: радикальная секта, MOVE, странные правила которой запрещали вскрывать трупы и убирать мусор, была ликвидирована американской полицией, что привело к гибели в огне одиннадцати человек и пожару, в котором сгорели тридцать домов вокруг, причем все эти дома, по иронии судьбы, принадлежали тем соседям, которые требовали уничтожения секты.

И в то же время производится дезинфекция, уничтожаются отходы и заделываются трещины, вещам возвращается состояние их первоначальной чистоты, они реставрируются. Keep America clean.[27]

Улыбка, которую каждый прохожий тебе адресует — дружелюбное движение челюсти, свидетельствующее о человеческой теплоте. Эта вечная улыбка, сопровожающая общение, улыбка, которой ребенок впервые отзывается на присутствие других, или которой он с отчаянием вопрошает об их присутствии, эта улыбка подобна первому крику человека, который одинок в мире. Как бы там ни было, здесь вам улыбаются, и вовсе не из любезности или желания нравиться. Эта улыбка означает лишь необходимость улыбаться. Что-то вроде улыбки Чеширского Кота: она — еще долго держится на лице, после того как все эмоции исчезли. Каждое мгновение вас одаривают улыбкой, но она остается неизменной и ничего не выражает. Вам улыбаются без задней мысли, но именно это держит вас на расстоянии. Улыбка охлаждает страсти и вдобавок афиширует смерть в ее funeral home, поддерживая веру в то, что контакт сохранится даже в ином мире. Улыбка иммунитетная, улыбка рекламная. "Эта страна хороша, сам я тоже хорош, и все мы самые лучшие". Это и улыбка Рейгана, в которой самоудовлетворение всей американской нации достигает своей высшей точки, и которая станет скоро единственным принципом правления. Улыбка самопророчествующая, как и все рекламные знаки: улыбайтесь, и вам будут улыбаться, Улыбайтесь, для того чтобы показать вашу открытость, ваше чистосердечие. Улыбайтесь, если вам нечего сказать, не скрывайте того, что вам нечего сказать, или что вам нет дела до других. Пусть эта пустота, это глубокое равнодушие непроизвольно просвечивает в вашей улыбке, сделайте подарок другим из этой пустоты и безразличия, осветите ваше лицо нулевой степенью радости и удовольствия, улыбайтесь, улыбайтесь. За недостатком индивидуальной самобытности у американцев чудесный прикус.

Но это действует. Рейган добивается улыбкой более полного согласия, чем добился бы какой-нибудь Кеннеди благодаря уму или политической мудрости. Призыв к чисто животному или инфантильному приветствию имеет гораздо больший успех, и все американцы сходятся в этом ослепительном сиянии зубов. Никогда никакая идея, никакие национальные ценности не смогли бы произвести подобного эффекта. Доверие, которое вызывает Рейган, является точной мерой его открытости и пустоты его улыбки.

Тинейджер, катающийся со своим плеером на роликовой доске, интеллектуал,

---

[26] Помпеевская старина (англ.).

[27] Держи Америку в чистоте (англ.).

работающий со своим word-processor,[28] рэппер из Бронкса, который бешено крутится в Рокси или в других подобных заведениях, джоггер или бодибилдер — повсюду все то же полное одиночество, и все тот же нарциссизм, будь он обращен на тела или на интеллектуальные способности.

Повсеместно мираж тела необычаен. Это единственный объект, на котором можно сосредоточиться, — не как на источнике наслаждения, а как на объекте иступленной заботы, поскольку мысль о физическом или нервном истощении не дает покоя, и смысл смерти для всех заключается в ее постоянном предупреждении. Тело лелеется в перверсивной убежденности, что оно ни для чего не пригодно, в полной уверенности, что его невозможно воскресить. Ибо наслаждение является следствием воскрешения тела, благодаря которому оно перерастает то навязчивое представление о гормональном, сосудистом балансе и маниакальной диететике, в которые его хотят заключить, эту панацею формы и гигиены. Поэтому необходимо забыть о телесных удовольствиях как о настоящем благе, забыть о возможных метаморфозах тела и обречь его на сохранение утопической и все равно утраченной молодости. Ибо тело, которое спрашивает себя о собственном существовании, уже наполовину мертво, и его подлинный культ, полумедитативный, полуэкстатический, представляет собой погребальные приготовления. Забота, которая проявляется к нему при жизни, предвосхищает погребальный грим с улыбкой, соединяющейся со смертью.

Все дело в подключенности. Речь не идет о том, чтобы быть или даже иметь тело, а о том, чтобы быть подключенным к нему. Подключенным к сексу, подключенным к собственному желанию. Быть связанным с вашими собственными функциями как с различными типами энергии или видеоэкранами. Модный гедонизм: тело представляет собой сценарий, гигиенические реплики которого раздаются среди бесконечных спортивных, тренажерных залов, залов стимуляций и симуляций, простирающихся от Венеции[29] до каньона Тюпанг и представляющих собой коллективную бесполую обсессию.

Другая обсессия связана с неотступным желанием подключиться к собственному мозгу. На экранах своих word-processor люди созерцают работу своего мозга. Теперь их уже не интересуют ни печень, ни другие внутренние органы, они больше не пытаются читать в сердце или в глазах, а интересуются лишь мозгом и миллиардами его возможных связей, которые так хочется сделать видимыми и следить за их работой как за компьютерной игрой. Весь этот церебральный и электронный снобизм представляет собой высшую аффектацию и знаменует собой не высшую антропологию, а антропологию упрощенную, редуцированную к терминальным утолщениям спинного мозга. Но не будем волноваться: все это менее научно и операционально, чем кажется. Нас очаровывает просто вид мозга и его работы. Мы бы хотели, чтобы нам был виден ход наших мыслей, и это уже как раз и есть суеверие.

И вот университетский преподаватель сражается со своим компьютером; он исправляет, переделывает, непрерывно совершенствует сделанное, превращая это занятие в разновидность бесконечного психоаналитического сеанса, занося в память компьютера все, чтобы только избежать конечного результата, чтобы, благодаря вечному feed-back[30] с машиной, отсрочить оплату по счету смерти и фатальную плату за письмо. Чудесный инструмент экзотерической магии; в самом деле всякое взаимодействие всегда сводится к бесконечной беседе с машиной, посмотрите на ребенка за компьютером в школе: вы думаете, он стал интерактивным или открылся миру? На самом деле родилась интегрированная схема «ребенок-машина». Интеллектуал в конце концов нашел эквивалент того, что тинейджер нашел в стерео и плеере: зрительную десублимацию мышления, видеографию своих

---

[28] Текстовый редактор (англ.).

[29] Венеция — пригород Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

[30] Обратная связь (англ.).

понятий.

В Рокси звуконепроницаемый бар возвышается над площадкой точно так же, как экраны господствуют над радиорубкой и как кабина техника нависает над телевизионной студией. Зал со своей точечной подсветкой, стробоскопическими эффектами, с танцорами, захваченными световыми пучками, — это флуоресцирующая среда, создающая тот же эффект, что и обыкновенный экран, И все это осознают. Сегодня никакая драматургия тела, никакое представление не в состоянии обойтись без контрольного экрана — и не для того, чтобы видеть себя со стороны или отражаться в нем при сохранении дистанции и магии зеркала, вовсе нет: экран необходим как мгновенная и поверхностная рефракция. Только этому повсюду и служит видео — экран экстатического преломления, которое уже не имеет образа, сцены или традиционной театральности, которое не включено ни в какую игру или самосозерцание, но подключено к самому себе. Без этой обратной связи, без этой мгновенно возникающей схемы, которую мозг, объект, событие, дискурс, создают, подключаясь к самим себе, без этого неизменного видео сегодня ничто не имеет смысла. Стадия видео заменила стадию зеркала.

То, о чем я говорю, нельзя назвать нарциссизмом, и мы не вправе злоупотреблять этим термином, чтобы описать соответствующий эффект. Это не нарциссическое воображаемое, разворачивающееся вокруг видео или стереокультуры, это результат исступленной автореференции, короткое замыкание, которое непосредственно связывает нечто с самим собой и, соответственно, подчеркивает его поверхностную интенсивность и глубинную незначимость.

В этом и состоит особый эффект нашего времени, Ту же самую природу имеет экстаз полароида, суть которого почти в одновременном овладении объектом и его образом, словно реализовалась старая физика, или метафизика света, где каждый объект, повторяя самого себя, порождает двойников, что и запечатлевается на снимке. Это сновидение. Это оптическая материализация магических процессов. Полароидное фото — экстатическая пленка, отслоившаяся от реального объекта.

Можно остановить разгоряченную лошадь, но невозможно остановить бегущего джоггера. Пена на губах, сосредоточенность на внутреннем счете, на том мгновении, когда наступит вторичное состояние, главное — не останавливайте его вопросом о времени, он вас просто сожрет. Он не взнуздан, но, вполне вероятно, держит в руках гантели или подвешивает дополнительный груз к поясу (где то время, когда девушки носили браслеты на лодыжках?). То, что столпник III века искал в лишениях и гордой неподвижности, он находит в изнурении мускулатуры. В умерщвлении плоти он собрат тем, кто сознательно изнуряет себя в тренажерных залах, в сложной механике хромированных блоков и ужасающих медицинских протезов. Существует прямая связь средневековых орудий пыток с механизированной работой на конвейере и с практикой совершенствования тела механическими протезами. Как диететика, бодибилдинг и все в этом роде, джоггинг представляет собой новую форму добровольного рабства (а также новую форму адюльтера).

Воистину, джоггеры — это святые конца света и протагонисты медленно наступающего Апокалипсиса. Ничто так не похоже на конец света, как одинокий человек, который бежит по пляжу, завороженный звучанием своего плеера, погруженный в уединенное жертвоприношение своей энергии, безразличный к любой катастрофе, поскольку не ожидает ничего, кроме саморазрушения, истощения энергии бесполезного тела, которое произойдет на его собственных глазах. Первобытные неудачники кончали с собой, уплывая в открытый океан, пока не иссякали их силы, джоггер сводит счеты с жизнью, гоняясь взад и вперед по побережью. У него блуждающий взгляд, изо рта текут слюни: не останавливайте его, он вас просто оттолкнет или будет приплясывать перед вами как бесноватый.

Только одна тоска сравнима с тоской джоггера, это тоска человека, который, стоя, в одиночестве ест посреди города. В Нью-Йорке часто можно видеть эти жалкие отбросы человечьего общежитья: они больше не прячутся и поглощают объедки прямо на людях. Но все-таки это городские, индустриальные нищие. Множество людей бегают одни, каждый сам

для себя, не обращая внимания на других, со стереофонической аурой над головой, которая просачивается в их взгляд и это — вселенная Blade Runner,[31] это вселенная после катастрофы. Оставаться нечувствительным к природному свету Калифорнии, к дымке гор, которая разносится теплым ветром на десятки миль вокруг и окутывает плавающие у берегов нефтяные платформы, не видеть ничего этого и упрямо бежать в каком-то лимфатическом самобичевании, вплоть до жертвенного изнеможения, — это знак потустороннего. Как толстяк, который становится все толще и толще, как иголка, прыгающая на одном и том же месте пластинки, как размножающиеся клетки опухоли, как все то, что утратило способность остановиться. Все это общество, включая его активную и продуктивную часть, все они бегут, потому утратили способность остановиться.

Спортивные костюмы, jogging suits, огромные шорты и хлопчатобумажные балахоны, easy clothes,[32] все это — ночная амуниция, и люди, которые бегут или беспечно идут, в действительности не покинули вселенской ночи, но благодаря тому, что они одеты в свободные одежды, их тела словно плывут в них, а они плывут в своих собственных телах.

Культура аноректическая: культура потери аппетита, отрыжки, антропоэмии, отказа. Характеристика фазы ожирения, насыщения, полнокровия.

Анdroектик предвосхищает все это скорее поэтически — заклиная. Он не признает, что ему чего-то не хватает. Он говорит: я ни в чем не нуждаюсь, поэтому я не ем. Страдающий ожирением, напротив, отвергает полноту, тучность. Он говорит: мне всего не хватает, и я ем все подряд. Аноректик предотвращает нехватку пустотой, заплывший жиром заклинает полноту сверхполнотой. Два окончательных гомеопатических выбора, выбора истребления.

Другое решение — решение джоггера, который в каком-то смысле скорее выблевывает, изрыгает, нежели расходует во время бега свою энергию. Ему необходимо добиться экстаза усталости, вторичного состояния механического небытия, и, как аноректик нацелен на вторичное состояния небытия органического, экстаза пустого тела, так толстяк нацелен на вторичное состояние небытия размеров: экстаз полного тела.

Последняя мания американского общественного мнения: сексуальные действия, совершенные в отношении детей (sexual abuse[33]). Закон точно определяет, что из опасения неконтролируемых сексуальных действий о детях младшего возраста должны заботится двое. В то же время фотографии исчезнувших детей украшают пакеты в супермаркетах.

Все защищать, все выявлять, все ограничивать — обсессиональное общество.

Save time. Save energy. Save money. Save our souls[34] — фобическое общество.

Low tar. Low energy. Low calories. Low sex. Low speed[35] — аноректическое общество.

Странно, что в этом универсуме, где все имеется в изобилии, существует необходимость все спасать, все беречь. Одержимость молодого общества, заботящегося о своем будущем? Тем не менее возникает, скорее, предчувствие угрозы, — тем более коварной, чем более это предчувствие необоснованно. Изобилие вызывает галлюцинацию возвращения недостатка и дефицита, которое необходимо предотвратить гомеопатическими средствами. Других причин для этой диеты, коллективной диететики, экологического контроля, этого умерщвления тела и отказа от наслаждений не существует. Все общество

---

[31] "Бегущий по лезвию бритвы". Фильм с Харрисоном Фордом.

[32] Одежды для джоггинга, свободные одежды (англ.).

[33] Развратные действия (англ.)

[34] Экономьте время, экономьте деньги. Спасите наши души (англ.).

[35] Низкое содержание никотина. Низкая энергия. Малокалорийность. Спокойный секс. Низкая скорость (англ.).

организуется, чтобы умилостивить раскормленные божества, страдающие от удушья изобилия. Хотя, разумеется, наша главнейшая проблема сегодня — сопротивление полноте.

Все берется на учет, все запасается, все запоминается.

Вот погребенные в жидком битуме, окаменевшие в этой черной минеральной гуще кости слонов, львы, мамонты, волки, проносившиеся некогда по равнине, на которой теперь стоит Лос-Анджелес, и ставшие первыми, доисторическими жертвами залежей нефти — сегодня они вторично забальзамированы в Хэнкок Парке, в катехизисном доисторическом музее. Все это вам представлено в соответствии с моральным кодексом, с убеждением: американцы убежденные люди, убежденные во всем и пытающиеся убеждать других. Одна из сторон их чистосердечия — настойчивое стремление все воссоздавать из прошлого, истории, которая им не принадлежала и которую они уничтожили и перехитрили. Замки эпохи Ренессанса, окаменевшие слоны, индейцы в резервациях, голографические секвойи и т. д.

Мормоны в Солт Лейк Сити, которые при помощи своих вычислительных машин ведут перепись всех известных (белых) жителей цивилизованных стран, не делают ничего такого, чего бы постоянно сплошь и рядом не делали сами американцы с их миссионерскими наклонностями. Никогда не поздно воскресить свои истоки. В этих истоках судьба американцев: лишенные исторического начала, они получат его, обессмертив все вещи путем их восстановления (эту окаменелость, над которой природа трудилась миллионы лет, сегодня они мгновенно получают в своих музеях). Правда, концепция американских музеев гораздо шире, чем у нас. Все заслуживает сохранения, бальзамирования, реставрации. Все должно родиться заново, этим вечным рождением симулякра. Американцы не только миссионеры, они еще и анабаптисты: прозевав настоящее крещение, они мечтают все окрестить во второй раз, и только это позднейшее таинство, которое, как известно, повторение первого, только куда более подлинное, для них имеет значение: вот совершенное определение симулякра. Все анабаптисты — фанатики, порой агрессивные; не избежали этого и американцы. Чтобы в точности восстановить вещи, чтобы предъявить их на Страшном Суде, они готовы разрушать и уничтожать — Томас Мюнцер был анабаптистом.

Совершенно не случайно, что именно мормоны сохраняют пальму первенства в мировой компьютеризации: свидетельство тому — перепись двадцати поколений всех стран мира, перепись, которая предстает новым крещением и грядущим спасением. Проповедь Евангелия стала миссией мутантов, инопланетян, и если в этом удалось преуспеть (?), то только из-за последних технических возможностей сохранения информации что, в свою очередь оказалось возможным только лишь благодаря глубокому информативному пуританству, строжайшей кальвинистской и пресвитерианской дисциплине, унаследовавшей универсальную научную строгость техники спасения. Контрреформистские методы католической церкви, с ее сакраментальными наивными практиками, ее культом, более архаичной и народной верой, никогда не могли соперничать с этой современностью.

Executive Terminal

Basic Extermination

Metastatic Consumption

Повсюду на повестке дня выживание: несмотря на тошнотворную беспросветность жизни или коллективную жажду катастрофы (но не надо принимать это близко к сердцу: это одновременно и своего рода игра в катастрофу). Разумеется, весь этот арсенал выживания, включающий диететику, экологию, защиту секвой, тюленей, человека, рассчитан на то, чтобы доказать, что жизнь продолжается (как и воображаемые феерии стремятся доказать, что реальный мир все же реален). Что не так уж очевидно. И не только сама жизнь не представляется фактом достаточно достоверным, но парадокс этого общества состоит в том, что уже невозможно даже умереть, поскольку все и так умерло… Вот уж полная неопределенность. Это следствие не только развития атомной индустрии, но и увеличения жизненного комфорта, которые превращают нас в выживающих. С атомной индустрией у нас нет ни времени, ни сознания смерти. И отныне на все времена в этом сверхзащищенным

обществе больше не существует сознания смерти, поскольку мы пришли к чересчур легкой жизни.

Уничтожение — так уже было — в предвосхищающей форме. Отбывшие на тот свет лишились самой возможности распоряжаться своей смертью, превратить ее в игру, ставку, жертву: они лишились самой способности умереть. Малыми, гомеопатическими дозами это приходит к нам как следствие развития наших систем. Взрыв и уничтожение (Хиросима и Аушвиц) растянулись во времени, они попросту приняли эндемическую, гнойную форму, однако цепная реакция идет, продолжается умножение по смежности, вирусное и бактериологическое развитие. Выход из истории — это как раз и есть начало этой цепной реакции.

Упорное желание выжить (а не жить) симптоматично для такого положения вещей и, без сомнения, является наиболее тревожным признаком вырождения вида. Если действительно рассматривать формы, которые оно принимает: убежища на случай атомной войны, криогенизация, терапевтический форсинг, — то станет видно, что это формы истребления. Чтобы не умереть, надо выдать себе охранную грамоту, какой бы она ни была. В этом смысле необходимо принять как утешающий тот факт, что люди очень быстро потеряли интерес к противоатомным средствам защиты (рынок бомбоубежищ стал просто престижным рынком, сродни рынку полотен знаменитых мастеров и роскошных лайнеров). Кажется, что люди, утомленные атомным шантажом, решили больше не уступать угрозе разрушения, позволяя ей постоянно висеть над ними и сознавая, до известной степени, ее маловероятность. Прекрасный пример витальной реакции в виде покорности судьбе. "Если надо умереть, то лучше это сделать под открытым небом, чем в подземном саркофаге". И сразу шантаж выживания прервался, и жизнь пошла своим чередом.

Великий сценарий ядерной угрозы, театральные переговоры, "звездные войны" — весь мир устал от этого Апокалипсиса и пытается, в сущности, спасти себя, обуздывая воооображение. И даже когда его попытались разбудить фильмами The last day[36] и другими в том же роде, то это не сработало, поскольку ничто, никогда не сможет сделать правдоподобной эту сцену, всю эту атомную непристойность. В таких тонких материях (как, например, рак) фантазии о смерти, как следствие, притягивают роковые события. Величайшая надежда и первостепенный политический факт состоят в этом молчаливом безразличии масс в отношении атомного пафоса (исходит ли он от атомных или противоатомных сил).

В одном научно-фантастическом рассказе группа избранных однажды утром обнаруживает, что место, где находятся их великолепные горные виллы, окружено прозрачным и непреодолимым препятствием — воздвигнутой в течение ночи стеклянной стеной. Из глубины своего застекленного рая они еще видят внешний мир, реальную вселенную, от которой отрезаны, и которая сразу же становится идеальной, только уже слишком поздно. Они медленно умирают в своем аквариуме, как красные рыбки. Некоторые кампусы производят на меня похожее впечатление.

Санта-Круз, бывшее ранчо, подаренное университету, затерявшееся среди сосен, полей, речушек, со своими невидимыми друг для друга домиками и столь же невидимыми человеческими существами, живущими там. Санта-Круз напоминает Бермудский треугольник или Санта-Барбару: там все исчезает, все поглощается. Полное отсутствие центра, совершенная общность. После идеального города — идеальная ниша. Ничто не сходится в одной точке — ни движение, ни архитектура, ни власть. И сразу же становятся невозможными общественные манифестации: где собираться? Их участникам оставалось бы только кружить по лесам на глазах друг у друга… Из всех калифорнийских кампусов, знаменитых своим местоположением и привлекательностью, этот наиболее идеализирован и близок к природе. Он сочетает в себе всевозможные красоты. Знаменитые архитекторы

[36] Последний день (англ).

создавали проекты его зданий, простирающихся вокруг бухты Кармель и Монтерей Если где-то и воплотится то общение, которое будет в будущем, то именно здесь Но именно эта свобода, защищенная одновременно растительным миром и университетскими привилегиями, попала к себе в заложники, оказалась окруженной излишней природной и социальной опекой, и в конце концов будет причинять те же страдания, что тюрьма (тюремная система благодаря своим стенам может порой более быстро эволюционировать в утопию, чем система открытого общества). Здесь общество свободно как нигде больше: психиатрические лечебницы открыты, транспорт бесплатный — и, парадокс, этот идеал отрезан от остального мира, словно находится за стеклянной стеной.

Райская дряхлеющая иллюзия; говоря словами Лиотара, "стены Тихого океана" и есть та хрустальная стена, за которой скрывается Калифорния во всем ее великолепии. И если некогда стремление к счастью было океаническим и расковывающим, то здесь оно погружено в пренатальную безмятежность Существуют ли еще страсти, убийства, насилие в этой странной, тихой, лесистой, умиротворенной, общительной республике? Да, но это насилие, вызванное аутизмом, реактивными состояниями. Не преступления на почве страсти, но изнасилование или, например убийства десяти женщин, совершавшиеся на протяжении двух лет, прежде чем убийца был установлен Внутриутробная агрессивность плода, столь же немотивированная, как и автоматическое письмо, и вызывающая ностальгию по древним запретам, в большей мере, чем реальная агрессивность (почему насилие умножается в соответствии с повышением уровня сексуальной свободы?).

Сентиментальность совместных дортуаров, которые выходят в лес — словно сама природа может быть приветливой и заботливой как мать, гарантируя расцвет сексуальности и экологии нравов, словно природа могла бы сочувствовать какому-нибудь определенному человеческому сообществу, все равно какому, как если бы, однажды покинув жестокий универсум магии, мы могли бы иметь с ней какую-нибудь иную связь, кроме стоической, иную, чем та, которую определили стоики, непредсказуемая, безжалостная необходимость, которой противопоставлен вызов и еще большая свобода. Здесь все проявления героической обреченности исчезли. Все погружено в сентиментальное примирение с природой, сексом, безумием и историей (сквозь призму пересмотренного и исправленного марксизма).

Санта-Круз, как и многое другое в современной Америке — вселенная после оргии, после конвульсий социальности и сексуальности. Те, кто уцелел после оргии (а секс, политическое насилие, война во Вьетнаме, крестовый поход в Вудсток, так же как и этническая и антикапиталистическая борьба, и, одновременно, желание разбогатеть, стремление к успеху, передовым технологиям и т. д. — все это оргия современности) оказались там, в Санта-Круз, занимаясь джоггингом на территории своего племени, рядом с территорией электронного племени Силиконовой долины. Спад интенсивности, исчезновение центра, создание микроклимата, безвредные технологии. Рай. Но достаточно ничтожных изменений, скажем, перестановки определенных акцентов, чтобы вообразить во всем этом ад.

Перипетии в поле сексуальности. Кончена оргия, освобождение состоялось, секса больше никто не ищет, все ищут свой «вид» (gender), то есть одновременно свой внешний вид (look) и свою генетическую формулу. Теперь мы выбираем не между желанием и наслаждением, а между своей генетической формулой и своей сексуальной идентичностью (которую необходимо найти). Вот иная эротическая культура, возникшая после культуры запретов ("What are your prerequisites for sex? — The dood has to be locked, the lights have to be out, and my mother has to be another State",[37] — вот культура вопрошаний о собственной природе:

"Имею ли я пол? Какого я пола? Необходимо ли в конце концов иметь пол? В чем

[37] "Что вам необходимо для секса? — Запертая дверь, выключенный свет, и моя мать должна быть в другом Штате" (англ.).

состоят половые различия?". Освобождение оставило всех в состоянии неопределенности (всегда одно и то же: раз освободившись, вы вынуждены спрашивать, кто вы?). После своего триумфа утверждение женской сексуальности стало таким же хрупким, как и утверждение мужской. Никто не знает, куда себя отнести. Именно поэтому так много занимаются любовью и так много делают детей: это по крайней мере еще доказывает, что нужно быть вдвоем, и соответственно, что еще существует какое-то различие. Но и это ненадолго. Уже muscle-woman благодаря тренировке своих влагалищных мышц достигает полного ощущения проникновения мужского члена: хороший пример автореференции и экономии различий — по крайней мере, она хоть нашла свое родовое определение.

Но более общая проблема — это проблема безразличия, связанная с ослаблением сексуальных характеристик. Знаки мужественности, так же как и знаки женственности, стремятся к нулевой степени. Именно при таких обстоятельствах и вырастают новые идолы, которые приняли вызов неопределенности и которые играют на смешении видов. Gender benders: не мужское, не женское, и даже не гомосексуальное. Бой Джордж, Майкл Джексон, Дэвид Боуи… В то время как герои предыдущего поколения воплощали образ взрывного секса и наслаждения, нынешние ставят перед всеми вопрос игры различий и своей собственной неопределенности. Это идолы исключений. Большинство же, за неимением идентичности, пытается найти свою "видовую модель", родовую формулу. Необходимо отыскать дифференциал единичности. Почему не поискать его в моде или генетике? Внешность, определяемая одеждой, или вид, определяемый составом клеток. Хорош любой идиотизм, хороша любая идиома. Вопрос различий более принципиальный, чем вопрос наслаждения. Не такова ли постмодернистская модальность версии теперь уже свершившегося сексуального освобождения (во всяком случае, оно больше не в моде), или речь идет о биосоциальных мутациях восприятия себя на основании исчезновения приоритета сексуального, который характеризовал всю современную эпоху? Gender Research: a New Frontier?[38]

В пограничной сфере больше уже не существует ни мужского, ни женского, существует лишь стирание индивидуальных полов, которые соотносятся теперь только сами с собой и которыми каждый распоряжается как собственным достоянием. Конец совращения, конец различия, переход к другой системе ценностей. Удивительный парадокс: сексуальность, как это и произошло в большинстве предшествующих обществ, могла бы стать второстепенной проблемой, несравнимой с другими, более значимыми символическими системами (рождением, иерархией, аскетизмом, славой, смертью). Можно было бы доказать, что в конечном счете сексуальность — только лишь одна из возможных моделей, и не самая важная. Но какими могут быть эти новые модели сегодня (ибо все прежние постепенно исчезли)? И сегодня нам открывается идеальный высокопроизводительный, генетически совершенный в своей формуле тип. В делах, аффектах, замыслах или удовольствиях каждый пытается реализовать свою собственную оптимальную программу. У каждого есть свой код, у каждого — своя формула. Но также и свой облик, свой образ. Может ли быть в таком случае что-то вроде генетической внешности?

Ирвин: новая Силиконовая аллея. Сплошная цепь электронных заводов, напоминающих интегральные микросхемы. Пустынная зона, отданная ионам и электронам; сверхчеловеческое пространство, зависящее от нечеловеческих решений. По иронии судьбы, именно здесь, на холмах Ирвина, снималась Планета Обезьян. Но на лужайке американские белки заверяют нас, что все в порядке, и что Америка хорошо обращается с животными, сама с собой, со всем остальным миром, и что в сердце каждого дремлет белка. Вся философия Уолта Диснея, вместе с этими прекрасными сентиментальными животными в серых шубках, кормится с вашей руки. Я же, напротив, думаю, что за приветливой внешностью каждой из

---

[38] Гендерное исследование: Новая Граница? (англ).

этих белок скрывается холодное и жестокое существо, ужас встречи с которым вас подстерегает. На той же самой лужайке, где бегают белки, воткнут щит с лозунгом какого-то безвестного Иисусова братства: Vietnam, Cambodia, Libanon, Granada — We are a violent society in a violens world.[39]

В Хэллоуине нет ничего забавного. Этот саркастический праздник, скорее, отвечает инфернальной потребности реванша детей над миром взрослых. Пагубная власть, угроза которой витает над вселенной, служит теперь самим детям. Нет ничего более опасного, чем это детское колдовство, и пока дети переодеваются и получают подарки — взрослые гасят свет и прячутся из страха, что их изведут. И нет ничего особенного, если кто-нибудь найдет иголки и лезвия в яблоках или печенье, которыми их угощают.

Хор греческой трагедии на американском телевидении заменил смех. Он неумолим и щадит только новости, сообщения с биржы и прогноз погоды. Но, в силу его навязчивости, он продолжает слышаться за голосом Рейгана или за сообщением о неудаче морской пехоты в Бейруте, и даже в рекламе. Он похож на монстра из Чужого 1, который бродит по отсекам космического корабля. Саркастическое веселие пуританской культуры. В других странах заботиться о смехе предоставляют зрителю. Здесь же зрительский смех перенесен на экран, интегрирован в зрелище, и это экран хохочет, это он развлекается. Вам остается одна растерянность.

Вьетнам по телевидению (плеоназм, поскольку это была уже телевизионная война). Американцы сражаются двумя важнейшими видами оружия: авиацией и информацией. Иными словами: это реальная бомбардировка неприятеля и электронная всего остального мира… Такие армии не нуждаются в территории, в то время как все силы Вьетнама, вся их тактика вышли из расовых и территориальных особенностей.

Именно поэтому война была выиграна одновременно обеими сторонами: вьетнамцами на земле, а американцами в электронном ментальном пространстве. И если одни одержали идеологическую и политическую победу, другие извлекли из всего этого Апокалипсис сегодня, который обошел весь мир.

Навязчивая идея американцев — чтобы огни не погасли. Свет в домах горит всю ночь. Высотные здания, пустые офисы остаются освещенными. Среди бела дня по freeways едут машины с включенными фарами. На Палмс Авеню в Венеции, в маленьком grocery,[40] где продается пиво, в квартале, в котором практически никто не появляется после семи часов вечера, всю ночь в пустоте мигают зеленые и оранжевые неоновые огни реклам. Уже нечего и говорить о телевизоре с его круглосуточными программами, которые идут чуть ли не в режиме галлюцинаций в пустых комнатах домов и в незанятых номерах отеля — как, например, в отеле Портервиль, где, несмотря на рваные занавески, отключенную воду, хлопающие двери, в каждом номере светятся экраны телевизоров, с которых диктор вещает о запуске нового космического корабля… Нет ничего более таинственного, чем телевизор, работающий в пустой комнате, это еще более странно, чем человек, разговаривающий сам с собой, и женщина, которая о чем-то мечтает, стоя у плиты. Можно подумать, что с вами разговаривают инопланетяне, и тут внезапно телевизор открывает свое истинное лицо: это видеоряд другого мира, никому, в сущности, не адресованный, безразлично рассылающий свои образы и безразличный к собственным сообщениям (можно предположить, что и после исчезновения человека он будет исправно выполнять свои функции). Короче говоря, в Америке никто не хочет видеть ни как наступает ночь или просто время отдыха, ни как замирает технический процесс. Необходимо, чтобы все работало, не переставая, чтобы не было никакой передышки в искусственном могуществе человека, чтобы исчезла периодичность природных циклов (смена времен года, дня и ночи, тепла и холода) — все это

---

[39] Вьетнам, Камбоджа, Ливан, Гренада — Мы жестокое общество в жестоком мире! (англ.).

[40] Бакалея (англ).

во имя зачастую абсурдного функционального континуума (даже, в сущности, необходимо отказаться от подлинного или ложного — все подлинно; от добра и зла — все добро). Здесь можно сослаться на страх или навязчивые идеи и сказать, что все эти непродуктивные расходы — работа траура. Но, что абсурдно, то и восхищает. Сияющие огнями глубокой ночью skylines,[41] кондиционеры, работающие в пустых отелях посреди пустыни, искусственное освещение среди бела дня несет в себе что-то бессмысленное и восхищающее. Идиотское великолепие богатой цивилизации, которая, подобно первобытному охотнику, застигнутому ночью, испытывает страх, когда свет начинает меркнуть. Во всем этом есть что-то общее. Что поражает, так это очарование искусственности, энергии, пространства, и не только природного, но и того особого пространства, которое в головах американцев.

Любой властитель мира сего в свое время создавал собственную монументальную аллею, которая в миниатюре воспроизводила бы необъятные просторы его империи. Но ацтеки в Теотихуакане или египтяне в своей долине Фараонов, или, наконец, Людовик XIV в Версале воплощали это в своей собственной архитектуре. Здесь, в Вашингтоне, бесконечная перспектива, открывающаяся от мемориала Линкольна до Капитолия, образуется музеями, которые следуют друг за другом и дают полное представление о нашей вселенной — от палеолитического периода до космического корабля. Благодаря этому создается ощущение чего-то научно-фантастического, словно здесь собраны все знаки земной культуры и событий, для того чтобы продемонстрировать их какому-нибудь инопланетному гостю. И даже Белый Дом, расположенный тут же и молчаливо взирающий на все, сам оказывается музеем, музеем мирового могущества, защищенный отстраненностью и профилактической белизной.

Ничто не может сравниться с ночным полетом над Лос-Анджелесом. Внизу, насколько хватает глаз, — что-то вроде светящейся, геометрической, раскаленной необъятности, сверкающей в просветах облаков. Разве что ад Иеронима Босха порождает такое же по силе ощущение пекла. Мерцающее свечение по всем диагоналям: Уилшир, Линкольн, Сансет, Санта-Моника. Пролетая над Долиной Сан-Фернандо, мы видим беспредельную горизонтальность, простирающуюся во всех направлениях. Но когда гора остается позади, город, который открывается взгляду, оказывается в десять раз больше. Никогда взгляду не приходилось созерцать такую протяженность, и даже море не производит такого впечатления, поскольку геометрически не разделено. Неравномерное, рассеянное мерцание европейских городов не имеет таких параллелей, точек схода, воздушных перспектив. Европейские города — это города средневековья. А Лос-Анджелес ночью конденсирует всю будущую геометрию человеческих отношений, все их сплетения, пламенеющие в абстрактности, сверкающие в их протяженности и звездные в их бесконечном воспроизводстве. Маллхолланд Драйв ночью — это земля с точки зрения инопланетянина, или, наоборот, земное видение галактической метрополии.

Заря над Лос-Анджелесом, над холмами Голливуда. Здесь становится ясно, что солнце озарило Европу лишь для того, чтобы взойти наконец здесь, над этой планиметрией, где солнечный свет — это еще и совершенно новый свет пустыни.

Стволы пальм, раскачивающиеся перед электрическим биллбордом — единственные вертикальные знаки этой планиметрии.

В 6 часов утра кто-то уже звонит из телефонной кабинки перед Беверли Террас. Ночные рекламы гаснут, дневные вспыхивают. Свег повсюду изобличает и иллюминирует отсутствие архитектуры. Именно это делает город неподражаемо прекрасным, близким и согревающим, что бы о нем ни говорили: дело в том, что он влюблен в свою безграничную горизонтальность, как, должно быть, влюблен в свою вертикальность Нью-Йорк.

Лос-Анджелес freeways

Грандиозный спонтанный спектакль автомобильного движения. Всеобщее

---

[41] Очертания города на фоне неба (англ.).

коллективное действо, круглосуточно разыгрываемое всем населением. Благодаря масштабу механизма и своего рода соучастию, организующему работу этой кровеносной системы, движение здесь достигает уровня драматической притягательности и символической организации. Сами машины, с их особым ходом и автоматизированным управлением, создали соответствующую себе среду, куда они встраиваются постепенно, подключаясь как к каналу ТВ. В противоположность нашим европейским автотрассам, которые образуют направленные, исключенные из остального пространства оси и (как замечает Вирилио) остаются местами изгнания, система freeways является местом интеграции (говорят даже, что некоторые семьи постоянно разъезжают здесь в своих mobile-home,[42] никогда их не покидая). Она создает иное умонастроение, которое заставляет европейского водителя быстро отказаться от своего агрессивного и бесцеремонного поведения, от своих личных реакций, чтобы усвоить правила этой коллективной игры. Во всем этом есть нечто от свободного движения в пустыне, для которой Лос-Анджелес, в силу своей экстенсивной структуры, оказывается только лишь заселенным участком. Поэтому freeways не искажают города или пейзажа, они проходят сквозь него и идут дальше, не изменяя того, что сближает эту метрополию с пустыней, и идеально отвечают единственному глубокому наслаждению — наслаждению чистого движения.

Тому, кто знает американские автотрассы, знакомо и это однообразное мелькание дорожных знаков. Right lane must exit.[43] Вот это самое must exit всегда поражало меня, как знак судьбы. Необходимо уйти, изгнать себя из этого рая, покинуть эту провиденциальную автотрассу, которая никуда не ведет, но где я нахожусь вместе со всеми. Только здесь подлинное общество и теплота — теплота устремленности вперед, коллективного влечения, теплота леммингов в их самоубийственном низвержении, так почему же я должен вырвать себя отсюда, сбившись на индивидуальную траекторию, в тщетную ответственность? Must exit — это приговор игроку, которого изгоняют за пределы единственной — бесполезной и блаженной — формы коллективного существования. Through traffic merge left:[44] вам обо всем говорится, все объявляется. Только чтение знаков, необходимых для выживания, создает такое необычное ощущение рефлекторной ясности сознания, рефлекторного — непосредственного и ненапряженного — «соучастия». Соучастия функционального, которому соответствуют правильные действия. Потоки, расходящиеся на Вентура Фривэй и Сан-Диего Фривэй не уходят в разных направлениях, они просто разделяются. В любой час дня можно заметить, что одинаковое количество машин сворачивает в Голливуд, а остальные направляются в Санта-Монику. Чистая энергия, статистика, ритуальное действо — регулярный характер потоков кладет конец индивидуальным пунктам назначения. Это сродни очарованию церемонией: перед вами все пространство целиком, подобно тому как церемонии располагают всем временем.

Речь не идет о том, чтобы создать социологию или психологию автомобиля. Речь идет о том, чтобы, путешествуя в автомобиле, узнать об обществе больше, чем знают о нем все научные дисциплины вместе взятые.

У американских автомобилей особая манера трогаться с места, они мягко разгоняются благодаря автоматике управления и усилителю руля. Разгон без усилий, бесшумное поглощение пространства, скольжение без толчков (поверхность дорог и автотрасс замечательна и не уступает подвижности механизмов), плавное, хотя и быстрое торможение, продвижение вперед словно на воздушной подушке, отсутствие необходимости думать о едущем впереди или том, кто вас обгоняет (здесь существует безмолвная конвенция

---

[42] Дома на колесах (англ.)

[43] Дорожный знак обозначающий, что правый ряд должен покинуть трассу

[44] Продолжающие движение должны перестроиться в левый ряд (англ.)

коллективного движения, тогда как в Европе существуют только правила уличного движения) — все это создает новый опыт пространства и одновременно всей социальной системы. Понимание американского общества целиком заложено в антропологии автомобильных нравов — более показательных, чем политические идеи. Проедьте десять тысяч миль по Америке — и вы будете знать о ней больше, чем все институты социологии или общих политических исследований.

Хотя город и возник раньше системы автотрасс, уже кажется, что сама метрополия образовалась вокруг этого артериального сплетения дорог. Точно так же, хотя американская реальность появилась раньше кино, ее сегодняшний облик наводит на мысль, что она создавалась под его влиянием, что она отражение гигантского экрана, но не как мерцание платоновских теней, а в том смысле, что все здесь как бы несет на себе отсветы этого экрана. Вместе с потоком машин и общей мобильностью экран и его рефракция фундаментальным образом определяют повседневные события. Кинетика и кинематика, смешиваясь, порождают особую ментальную конфигурацию, восприятие, которое принципиально отличается от нашего. Ибо эту прецессию мобильности и экранирования реальности вы никогда не найдете в том же виде в Европе, где вещи чаще всего сохраняют статическую форму территории и ощутимую форму субстанции.

В действительности кино находится не там, где мы думаем, и где его точно нет — так это на тех студиях, куда ходят целыми толпами, и которые представляют собой филиалы Диснейленда — Юниверсал Студиос, Парамаунт и т. д. Если считать, что весь Запад гипостазируется в Америке, Америка — в Калифорнии, Калифорния — в Метро Голден Мейер и Диснейленде, тогда именно здесь находится микрокосм Запада.

На самом деле, именно здесь вам представят вырождение кинематографической иллюзии и насмешку над ней, точно так же как в Диснейленде — пародию на воображаемое. Чудесная эра изображения и звезд превратилась в спецэффекты искусственных смерчей, жалких архитектурных муляжей и инфантильных трюков, во время которых все делают вид, что не слишком обмануты в своих ожиданиях. Ghost towns, ghost people.[45] Все это дышит такой же ненужностью, как Сансет или Голливуд Бульвар, откуда выходишь с ощущением, что подвергся испытанию инфантильной симуляции. А где же кино? Оно — повсюду на улицах, повсюду в городе, фильм и сценарий — чудесные и бесконечные. Повсюду, но не на студиях.

Особое очарование Америки состоит в том, что за пределами кинозалов кинематографична вся страна. Вы смотрите на пустыню так же, как смотрите вестерн, на метрополии — как на экран знаков и формул. То же самое ощущение возникает, когда выходишь из итальянского или голландского музея и оказываешься в городе, который кажется отражением этой живописи, словно она породила его, а не наоборот. Американский город тоже, кажется, получил жизнь от кино. И надо идти не от города к экрану, а от экрана к городу, чтобы узнать тайну последнего. В городе, где кино не облачается в форму чего-то необыкновенного, а окутывает улицу и весь город мифической атмосферой, оно становится подлинно захватывающим. Поэтому культ звезд — не побочный эффект кино, а его знаменитая форма, его мифологическое преображение, последний великий миф нашего времени. Это действительно так, поскольку идол — чистый, заражающий собой образ, насильственно реализованный идеал. Говорят: идолы заставляют грезить, но грезить и подпадать под очарование образов — разные вещи. Идолы экрана имманентны развертыванию жизни в образах. Они — система великолепного заводского производства, восхитительный синтез стереотипов любви и жизни. Они воплощают одно-единственное сильное влечение: влечение к образам, и имманентность желания образу. Они не погружают в мечты, они — сома мечта, все свойства которой им присущи: они производят сильный эффект конденсации (кристаллизации), смежности (они все непосредственно заразительны),

---

[45] Города-призраки, люди-призраки (англ.).

и главное: они носят характер мгновенной визуальной материализации (Anschaulichkeit) желания, характерной и для сновидения. Они не пробуждают романтического или сексуального воображения, они являют собой непосредственную видимость, непосредственную транскрипцию, материальный коллаж, осадочные пласты желания, фетиши, объекты-фетиши, не имеющие ничего общего с воображаемым, но представляющие собой материальный вымысел образа.

В 1989 году, в год двухсотлетия Французской революции, в Лос-Анджелесе будут проводиться революционные Олимпийские игры. Факел Истории переходит на Запад, и это естественно: все, что исчезает в Европе, оживает в Сан-Франциско. И если предположить, что в виде гигантской голограммы будут воссозданы великие события революции, будут собраны всеобъемлющие архивы, полная фильмотека, созваны лучшие актеры, лучшие историки — то через столетие не останется никаких различий, и все будет выглядеть так, как если бы революция произошла здесь. Если бы вилла Гетти в Малибубыла внезапно разрушена, отличалась бы она через несколько веков от развалин Помпеи?

Что бы стали делать инициаторы двухсотлетнего юбилея революции, если бы в 1989 году революция разразилась здесь? Конечно, об этом не может быть и речи. Однако хотелось бы, чтобы реальное событие закоротило симулякр, или чтобы симулякр обернулся катастрофой. Так, в Юниверсал Студиос каждое мгновение вселяет надежду, что спецэффекты превратятся в реальную драму. Но именно это и есть последняя ностальгия, которую использовало само кино (West-world, Futur World[46]).

Олимпиады — всеобъемлющий хэппенинг, коллективное соучастие в национальном самопрославлении. We did it! Мы самые лучшие. Рейгановская модель. Возможно, нужна новая Лени Рейфеншталь, чтобы снять новый "Берлин 1936". Олимпиада — самое спонсированное, самое эйфоричное, самое чистое и по настоящему общественное событие. Ни несчастных случаев, ни катастроф, ни терроризма, ни блокирования автострад, ни паники… ни граждан Страны Советов. Короче говоря, образ идеального общества, открытого всему миру. Но после всеобщего оргазма жителей Лос-Анджелеса охватывает что-то вроде коллективной меланхолии. И в этом город еще провинциален.

В этой центробежной метрополии, как только вылезаешь из своей машины, сразу же становишься правонарушителем; как только отправляешься в путь пешком — превращаешься в угрозу общественному порядку, как бродячая собака. Только эмигранты из стран третьего мира имеют право ходить пешком. В каком-то смысле это их привилегия, связанная с правом оккупировать пустынный центр метрополий. Для других ходьба, усталость, мышечная активность стали малодоступными благами, стали сервисом, цена которого очень высока. Так забавно вещи выворачиваются наизнанку. Опять же и очереди перед роскошными ресторанами или модными кафе выстраиваются более длинные, чем перед благотворительными столовыми. Это и есть демократия, когда знаки наивысшей бедности всегда имеют, по крайней мере, возможность войти в моду.

Одна из характерных проблем Америки — слава, отчасти по причине ее чрезвычайной редкости в наши дни, и вместе с тем из-за ее крайней вульгаризации. "В этой стране каждый был или будет знаменит хотя бы в течение десяти минут" (Энди Уорхолл). И это правда. Так, слава пришла к тому, кто перепутал рейс и попал в Aucklande (что в Новой Зеландии) вместо Oaklande, что под Сан-Франциско. Это приключение сделало из него героя дня, у него повсюду берут интервью, о нем снимают фильм. Действительно, слава в этой стране удел не исключительных добродетелей или героических поступков, а своеобразия самой неприметной судьбы. Это удел абсолютно всех, поскольку чем однороднее система в целом, тем с большей вероятностью существуют миллионы индивидуумов, которые отличаются каким-то мельчайшим отклонением. Малейший изъян среднестатистической модели, мельчайший каприз компьютера достаточны, чтобы наградить любое ненормальное

---

[46] Западный мир, Будущий мир (англ.).

поведение, пусть даже самое заурядное, эфемерной славой.

Таково и совершенно белое изваяние Христа, несущего тяжелое распятие на Майн стрит в Венеции. На улице жара. И хочется сказать ему: все это уже свершилось две тысячи лет тому назад. Но, в действительности, он и не делает ничего нового. Просто несет свой крест, так же как другие несут на бортах своих машин надписи: Jesus save. Know Jesus[47] и т. д. Можно было бы заметить ему, что никто, абсолютно никто не видит его, и что он окружен всеобщими насмешками и безразличием. Но он скажет: точно так же было две тысячи лет назад.

Вершина отеля Бонавентура. Ее металлические конструкции и застекленные проемы медленно вращаются вокруг коктейль-бара. Внешнее движение этого небоскреба едва ощутимо. Потом начинает казаться, что движется платформа бара, а все остальное неподвижно. В конце концов начинает казаться, что весь город вращается вокруг неподвижной вершины отеля. Головокружительное чувство, которое не покидает и внутри отеля благодаря лабиринтообразному кружению пространства. Чисто иллюзионистская архитектура, чистый пространственно-временной гаджет — архитектура ли это еще? Игровая и галлюциногенная — не такова ли архитектура постмодерна?

Здесь не существует интерфейса внешнее/внутреннее. Зеркальные фасады только отражают окрестности, возвращая им же их собственный образ. Они гораздо более непроницаемы, чем любые каменные стены. Как люди, которые носят черные очки. Взгляд скрывается за ними, и другой видит только свое собственное отражение. Повсюду прозрачность взаимодействия заканчивается внутренней рефракцией. Плеер, черные очки, бытовая техника, начиненная электроникой, автомобили с множественными системами контроля и даже постоянный диалог со своим компьютером — все то, что мы помпезно называем коммуникацией и взаимодействием, теряется в складке каждой монады, в тени ее собственной формулы, в ее самоуправляющейся нише и искусственном иммунитете. Такие здания, как отель Бонавентура, претендуют на то, чтобы быть совершенным, самодостаточным микрогородом. И они скорее отделяются от города, чем взаимодействует с ним. Они его больше не видят. Они отражают его, как черная поверхность. Из этих зданий больше нельзя выйти. Их внутреннее пространство, хотя и достаточно запутанное, не содержит в себе никакой тайны, как в той игре, где надо соединить все точки так, чтобы ни одна линия не пересекалась с другой И здесь тоже: все сообщается, но так, что два взгляда никогда не пересекутся.

На улицах — то же самое.

Переодетый человек с длинным клювом, перьями, в желтом капюшоне с отверстиями для глаз, этакий вырядившийся сумасшедший, фланирует по тротуару в даунтауне, и никто на него не смотрит. Здесь вообще не смотрят на других. Все слишком боятся, что на вас набросятся с сексуальными домогательствами, раздражающими просьбами о деньгах или сочувствии. Все отягощено сомнамбулической агрессивностью, и необходимо избегать контактов, чтобы уклониться от чьей-то потенциальной разрядки. Сумасшедшие освобождены, и все друг для друга являются потенциальными сумасшедшими. Все настолько спонтанно, сдержанности и манер так мало (одна лишь вечная кинематографическая улыбка — слишком слабая защита), что возникает чувство, будто все может взорваться в любой момент, и цепная реакция моментально выплеснет всю эту скрытую истерию. То же самое чувство и в Нью-Йорке, где паника — это аромат городских улиц; иногда, как например, в 1976 году, она принимает форму гигантской катастрофы.

Вокруг — фасады из дымчатого стекла, словно лица: матовые поверхности. Как если бы внутри зданий никого не было, как если бы за лицами никого не существовало. Там действительно никого нет. Таков идеальный город.

---

[47] Спаси, Иисус. Узнай Иисуса (англ.).

First International Bank, Croker Bank. Bank of America. Pentecostal Savings[48] (о, нет, это церковь). Все это собрано в центрах городов, заодно с крупными авиационными компаниями. Деньги — это что-то неуловимое, словно благодать, они никогда вам не принадлежат. Приходить и требовать их — значит оскорблять божество. Заслужили ли вы такую милость? Кто вы, и что вы собираетесь с ними делать? Вас подозревают, что вы хотите их тратить, а траты неизбежно смердят, тогда как деньги так прекрасны в своей неуловимости и вневременности, и такими они могут быть только в банке, куда их вкладывают, вместо того чтобы тратить. Стыдитесь и целуйте руку, которая вам их дает.

Совершенно верно то, что обладание деньгами, как и властью, сжигает, и требуются люди, которые возьмут на себя этот риск, за что мы должны быть этим людям бесконечно признательны. Поэтому я всегда пребываю в нерешительности, когда кладу деньги в банк, я боюсь, что никогда не осмелюсь взять их оттуда. Если вы идете на исповедь и оставляете ваши грехи на хранение в сознании исповедника, придете ли вы когда-нибудь, чтобы получить их обратно? К тому же атмосфера банка самая что ни на есть исповедальная (нет места более кафкианского, чем банк): сознайтесь, что у вас есть деньги и сознайтесь, что это ненормально. И это правда: иметь деньги — совершенно недопустимо, банк вас от этого освободит: "ваши деньги меня интересуют" — он вас шантажирует, его вожделение безгранично. Его бесстыдный взгляд обнажит ваши срамные уды, и вы будете вынуждены отдаться ему, чтобы его удовлетворить. Однажды я захотел закрыть свой счет и забрать всю наличность. Банкир отказался меня отпустить с такой суммой: это непристойно, опасно, безнравственно. Не хочу ли я, по крайней мере, получить дорожные чеки? Нет, только наличность, Да я просто спятил: в Америке вы буйнопомешанный, если вместо того, чтобы думать о деньгах и их чудесной неуловимости, вы будете таскать их с собой в виде купюр. Деньги грязны, это правда. И все эти святилища из бетона и металла, которые защищают нас от них — не лишние. Банк выполняет решающую социальную функцию, и совершенно логично, что банковские строения образуют монументальный центр города.

Одна из наиболее прекрасных вещей в мире: на рассвете — волнорез в Санта-Монике с разбивающейся о него белой волной, серое небо на горизонте Венеции, бледно-зеленый или бирюзовый отель, возвышающийся над песками, и мотели, следующие друг за другом в полнейшем запустении, деградировавшие до грязных ламп и стен, покрытых граффити. Страдающие бессонницей любители серфинга преследуют первые волны; пальмы, столь меланхоличные в своей грации «безумных» лет (1919–1929) и вихря развлечений. Коса, идущая к Лонг Бич, настолько широка, что с ней может сравниться только залив Ипанема в Рио. Но в отличие от Рио, раскинувшегося возле надменного, пышного и претенциозного (но все-таки прекрасного) моря, здесь город заканчивается почти что в океане, как пригород морского курорта, туманное очарование которого он сохраняет. На рассвете это одно из самых незначительных побережий мира, почти рыбачье. Здесь, на лишенном значения берегу завершается Запад, завершается как путешествие, которое по мере приближения к своему концу теряет смысл. Необъятная метрополия Лос-Анджелес опрокидывается в море как пустыня, с той же праздностью.

LIVE OR DIE:[49] непонятное граффити на дамбе в Санта-Монике. Ведь в конце концов выбора между жизнью и смертью не существует. Если ты живешь — ты живешь, если ты умер — ты умер. Это все равно, что сказать: будь самим собой или не будь самим собой. Это идиотизм, и все же загадка. Можно понять это так: нужно жить интенсивно или исчезнуть, но это банально. По типу: Pay or die.[50] Кошелек или жизнь! — это превращается в: Жизнь

---

[48] Первый Интернациональный банк, Крокер банк, Американский банк. Церковь пятидесятников (англ.).

[49] Живи или умри (англ.).

[50] Плати или умри (англ.)

или жизнь! Еще раз идиотизм: жизнь не обменивается на саму себя. Однако в этой неумолимой тавтологии существует поэтическое очарование — как и во всем том, где нечего понимать. В конечном счете, смысл этого граффити может быть таким: ты идиот, какого не сыщешь, хоть умри!

Пока они проводят время в библиотеках, я провожу его в пустынях или на дорогах. В то время как они черпают свой материал из истории идей, я черпаю его только из действительности, уличного движения или красот природы. Эта страна наивна, и в ней надо быть наивным. На всем здесь еще лежит печать первобытного общества: технологии, масс-медиа, тотальная симуляция (био, социо, стерео, видео) — все это доходит до дикого первобытного состояния. Незначимость сохраняет свой масштаб, и пустыня, даже в метрополиях, остается первосценой. Безмерность пространства, простота языка и характеров.

Мои охотничьи угодья — это пустыни, горы, freeways, Лос-Анджелес, safe-ways,[51] ghost town или downtown, а не университетские конференции. Пустыни, их пустыни я знаю лучше, чем они, которые повернулись спиной к собственному пространству, как греки повернулись спиной к морю, и я извлекаю из пустынь больше вещей, имеющих отношение к конкретной, социальной жизни Америки, чем когда-либо извлек из официальной и интеллектуальной социализованности.

Американская культура — наследница пустынь. По своей природе пустыни не являются придатками городов, они обозначают пустоту, радикальную наготу, которая присутствует на заднем плане всего человеческого общежития. В то же время пустыни обозначают его как метафору этой пустоты, произведенное человеком как продолжение пустыни, культуру как мираж и как непрерывность симулякра.

Природные пустыни переносят меня в пустыни знаков. Они учат меня читать в одно и то же время поверхность и движение, геологию и неподвижность. Они создают видение, очищенное от всего остального, от городов, отношений, событий, медиа. Они привносят экзальтированное видение опустошения знаков и человека. Они прочерчивают ментальную границу, за которой рушатся замыслы цивилизации. Они находятся за пределами сферы желаний. При избытке значений, интенций и претензий культуры необходимо всегда взывать к пустыням. Пустыни — наш мифический оператор.

Ромеро Саддле — Камино Сиело — Блю Каньон — Квик Сильвер Майн — Сикамор Каньон — Сан-Рафаэль Вилдернесс.

Поздним вечером, после трех часов дороги я потерялся в Сан-Рафаэль Вилдернесс. Я еду все время вперед, навстречу последним отблескам дня, потом навстречу отсветам маяков на прибрежном песке, но двигаюсь я или нет? Вокруг сгущаются сумерки, перспектива провести здесь всю ночь становится все реальнее, но виски создает приятное чувство беспечности. Наконец, после двух часов дороги и нисхождения в ад — вознесение к небесам: на горном хребте — Камино Сиело и панорама огней Санта-Барбары — ночная, воздушная.

Портервилль

Сквозь ровные посадки апельсиновых деревьев с темно-зеленой листвой безупречной геометрической формы просвечивают рыжеватые склоны холмов, напоминающих холмы Тосканы, покрытые, словно мехом, волнующейся травой. Аллея, образованная пятьюдесятью симметричными пальмами одинаковой высоты, ведет к небольшому дому плантатора с закрытыми ставнями. Так мог бы выглядеть обычный колониальный пейзаж, но это западный склон Скалистых гор, у самого начала Секвойя Национал Парк. Въезд в город, который со своими прямыми улицами схож с апельсиновыми садами и, по существу, городом не является; население его составляют мексиканские рабы, выкупившие у своих хозяев старые шевролеты (50-х годов выпуска). Въезд представляет собой аллею олеандров. В самом же городе поражает совершенно непостижимое отсутствие центра. Путешествуя

---

[51] Безопасные дороги (по аналогии с freeways).

по улицам в том и другом направлении, не удается обнаружить ничего, что хотя бы отдаленно напоминало центральную точку. Нет ни банков, ни административных зданий, ни мэрии; город не имеет координат, он подобен плантации. Единственный признаки жизни — американский флаг неподалеку от мертвого отеля, единственного на весь город трехэтажного здания, рваные занавески которого развеваются при порывах вечернего ветра за разбитыми оконными стеклами. Комнаты не отпираются: хозяин-мексиканец не может найти ключей. Цены — смехотворные. Вы можете здесь жить целую неделю на 20 долларов. И тем не менее в каждой из комнат, где матрасы выпотрошены, стекла потускнели от пыли, постоянно работает телевизор, просто так, ни для кого, — в комнатах, открытых всем ветрам, даже в тех, которые больше не отпереть. Телевизоры можно увидеть с улицы, или по крайней мере различить сквозь занавески их мерцание. Все коридоры, дорожки которых истерты до того, что просвечивают, предлагают только один указатель: ВЫХОД. Можно выходить во всех направлениях. Вы можете снимать здесь три комнаты в течение недели за цену, которую с вас возьмут за одну ночь в обычном мотеле. Возможно, этот отель предназначался для богатого общества Бэйкерсфильд, которое вот уже сорок лет предпочитает горную свежесть. Сегодня он еще является центром Портервилля, обреченным на постепенное обветшание. Но слишком жарко, чтобы побеспокоиться о нем.

На Портервилль медлено опускается ночь и начинается лихорадка Субботнего Вечера. American graffiti 85. Все машины проезжают две мили в обоих направлениях по главной трассе, образуя то неторопливую, то оживленную процессию, коллективный парад, участники которого пьют, едят мороженое, окликают друг друга из своих машин (тогда как днем все ездят, не замечая друг друга), — музыка, магнитофоны, пиво, мороженое. Имея тот же размах, что неспешное ночное движение по центральной магистрали Лас Вегаса или автомобильная процессия на улицах Лос-Анджелеса, здесь эта церемония превращается в провинциальную феерию субботнего вечера. Единственный элемент культуры, единственный элемент движения: машины. Ни культурного центра, ни развлекательного. Примитивное общество: та же моторная идентификация, тот же коллективный фантазм движения: завтрак, movie,[52] религиозная служба, любовь и смерть — все на колесах; жизнь полностью drive in.[53] Грандиозно. Все сводится к этому дефилированию светящихся молчаливых скафандров (ибо все здесь происходит в относительной тишине; никаких изменений скорости, никаких ее превышений: это все те же плавно движущиеся монстры с автоматическим управлением, легко скользящие в общем потоке друг за другом). Ничего другого ночью не произойдет. Разве что где-то на окраине города под светом прожекторов, в волнах пыли, вздымаемой лошадьми, возле бейсбольного поля, неистовые скачки девиц 12–15 лет, настоящих девчонок из вестерна: они соревнуются между собой. А на следующее утро, в воскресенье, опустевшие, мало чем отличающиеся от пустыни улицы являют миру сверхъестественное спокойствие. Воздух прозрачен, крутом апельсиновые деревья. После ночного автомобильного парада все оставлено на откуп освещению чрезмерно широких авеню, темных store houses,[54] станций сервисного обслуживания, едва подающих признаки жизни. Сиротливый, без фар и огней реклам дневной свет, и только какие-то мексиканцы в поисках клиентов медленно едут на своих огромных машинах, и первые белые моют свои автомобили перед открытыми верандами. Светящаяся незначимость воскресного утра. Голографическая микромодель всей Америки.

Долина Смерти всегда столь велика и таинственна. Огонь, жар, свет — все составляющие жертвоприношения. В пустыню всегда надо приносить с собой что-нибудь

---

[52] Кино (англ.).

[53] На колесах (англ.). Сеть социальных услуг для владельцев автомашин.

[54] Магазин (англ.).

для жертвоприношения и предлагать ей это как жертву. Какую-нибудь женщину. Если что-то равное по красоте пустыни должно здесь исчезнуть — то почему бы не женщина?

В американских пустынях не существует ничего более странного, чем сочетание свободных одежд, медленных ритмов, оазисов — сочетания, присущего коренным культурам этих пустынь. Все человеческое здесь — искусственно. Фенанс Крик — это оазис искусственного климата. Но нет ничего прекраснее этой искусственной свежести в самом пекле, искусственной скорости в самом средоточии природного пространства, электрического света средь бела дня или искусственной практики игры в затерянных казино. Райнер Бунхам прав: долина Смерти и Лас Вегас неотделимы друг от друга, и необходимо одновременно принимать как ненарушаемую длительность, так и самую безрассудную сиюминутность. Существует таинственное родство между бесплодностью пространств и бесплодностью игры, между бесплодностью скорости и бесплодностью трат. В этом агрессивном и наэлектризованном синтезе заключена оригинальность пустынь Запада. То же самое относится и ко всей стране: необходимо принимать все вместе, ибо именно это столкновение противоположностей составляет иллюминационную, увеселительную сторону американского образа жизни — точно так же, как все в пустыне является частью магии пустыни. Если вы будете рассматривать все это общество в нюансах морального, эстетического или критического суждения о нем, то вы уничтожите его оригинальность, вытекающую из вызова суждению и удивительного смешения противоположных эффектов. Уклоняясь от такого смешения и такой чрезмерности, вы просто избегаете вызова, который это общество вам бросает. Сила контрастов, неразличимость положительных и отрицательных эффектов, столкновение рас, технологий, моделей, бесконечное кружение симулякров и образов — все это здесь таково, что вы должны принимать их как элементы сновидения в самой непостижимой последовательности, вы должны превратить это движение в неопровержимый и основополагающий факт.

Различия, проводимые за пределами Америки, в принципе не имеют здесь смысла. Бесполезно выделять черты американской цивилизации, на самом деле зачастую значительно превосходящей нашу (страну "высокой культуры") и в то же время утверждать, что это варвары. Бесполезно противопоставлять долину Смерти как возвышенный природный феномен и Лас Вегас как омерзительное явление культуры. Ибо первое — скрытая сторона второго, и они, по разные стороны пустыни, соответствуют друг другу как апогей проституции и зрелища апогею тайны и тишины.

Именно благодаря этому долина Смерти несет в себе что-то таинственное. Это иная красота, иная нежели та, которую являют пустыни Юты и Калифорнии вместе взятые, это красота возвышенная. Дымка чудовищной жары, которая ее окутывает, инверсированная (ниже уровня моря) глубина, подводный характер этого пейзажа с солеными озерами и mudhills,[55] кольцо высоких гор, которые придают этой картине вид замкнутого святилища, — место инициации, образованное земными провалами и очерченное лимбами, играющими всеми цветами спектра. Что меня всегда поражало так это зыбкость аллеи Мертвых, ее пастельные цвета, ее окаменевший покров, туманная фантасмагория ее темно-красных пород. Ничего унылого и болезненного: трансверберация, где все осязаемо, кристальная прозрачность воздуха, кристальная чистота света, корпускулярная аура цвета, полная экстраверсия тела среди жары. Участок какой-то другой планеты (во всяком случае место, куда не ступала нога человека), предлагающий иную, более глубокую темпоральность, по которой вы скользите как по тяжелой воде. Сознание, рассудок, само чувство принадлежности роду человеческому притупляются перед этим чистым, нетронутым знаком, которому 180 миллионов лет, и неумолимой загадкой нашего собственного существования. Это единственное место, где одновременно с цветовым спектром можно было бы воскресить спектр нечеловеческих метаморфоз, предварявших наше появление,

---

[55] Грязевые холмы (англ.).

этапы нашего последовательного развития: минералы, растительность, соляная пустыня, песчаные дюны, камни, руда, свет, тепло — все то, чем могла быть земля, все нечеловеческие формы развития, пройденные землей, объединенные в одном антологическом видении.

Пустыня — это естественное расширение внутренней тишины тела. Если язык, техника, сооружения человека — суть распространение его конструктивных способностей, то только пустыня есть распространение его способности к отсутствию, идеальный образ его исчезнувшей формы. Покидая Мохав, говорит Бунхам, по крайней мере на протяжении пятнадцати миль возникают сложности с адаптацией. Глаз не может сфокусироваться на близких объектах. Он больше не может полностью концентрироваться на вещах, и привлекающие внимание природные объекты или постройки, возведенные человеком, кажутся ему только досадными препятствиями, преграждающими путь взгляду. После возвращения из пустыни глаз вновь принимается искать ту совершенную пустоту, он только и может, что представлять себе пустыню сквозь обжитые пространства и всевозможные пейзажи. Сильное отвыкание, которое никогда не бывает полным. Отодвиньте от меня всякую субстанцию… Но пустыня это нечто иное, нежели пространство, освобожденое от всякой субстанции. Она подобна тишине, которая не просто отсутствие звуков. Нет необходимости закрывать глаза, чтобы ее услышать. Ибо это также и тишина времени.

Здесь, в долине Смерти, присутствует и момент определенной кинематографии. Ибо вся ее таинственная геология также представляет собой сценарий. Американская пустыня — это драматургия необычная, совершенно не театральная, в отличие от каких-нибудь альпийских уголков, и не такая сентиментальная, как лес или деревня. Не выветренная и однообразная, как освещенная луной австралийская пустыня. Не мистическая, как пустыни Ислама. Американская пустыня наполнена чисто геологическим драматизмом, соединяющим в себе наиболее острые и наиболее гибкие формы с формами подводными, самыми мягкими и самыми нежными: вся изменчивость земной коры дана там в синтезе, в неожиданном ракурсе. Все понимание земли и ее элементов собрано здесь, в зрелище, не имеющем себе равных: в зрелище геологического сверхпроизводства. Не только кино создало для нас кинематографическое видение пустыни, сама природа, задолго до людей, преуспела здесь в создании своего самого прекрасного спецэффекта

Бесполезно пытаться лишить пустыню ее киногеничности, чтобы сохранить ее первоначальное качество — двойное экспонирование здесь всеобъемлюще и непрерывно. Индейцы, mesas,[56] каньоны, небеса — все поглотило кино. И тем не менее, это наиболее захватывающее зрелище в мире. Следует ли предпочесть ему «аутентичные» пустыни и затерянные оазисы? Для нас, людей современных и сверхсовременных, как и для Бодлера, который смог уловить в искусстве тайну истинной современности, захватывающим является только естественное зрелище, которое в одно и то же время обнаруживает как наиболее волнующую глубину, так и тотальную симуляцию этой глубины То же и здесь, где глубина времени открывается в глубине кадра (кинематографического). Долина Памятников — это геология земли, это индейский мавзолей и кинокамера Джона Форда. Это эрозия, это массовое истребление, но вместе с тем это тревелинг и аудиовизуальный ряд. Первое, второе и третье соединены в одном видении, которое нам здесь дано. И каждый этап незаметно завершает предыдущий. Уничтожение индейцев нарушает естественный космологический ритм здешних пейзажей, с которыми на протяжении тысячелетий было связано их магическое существование. Вместе с пионерами цивилизации на смену крайне медленному процессу пришел процесс неизмеримо более быстрый. Пятьюдесятью годами позже он сменится кинематографическим тревелингом, который еще ускорит этот процесс и некоторым образом остановит исчезновение индейцев, воскрешая их как статистов. Таким образом, этот пейзаж оказывается своего рода хранителем всех геологических и

[56] Mesa (исп.) — плато, образованное остатками вулканических пород, подвергнувшихся эрозии

антропологических событий, вплоть до самых недавних. Отсюда и та особенная сценография пустынь Запада, заключающаяся в том, что они соединяют в себе древнейшие иероглифы, ярчайшую светоносность и самую бесконечную поверхностность.

Цвет здесь распадается на мельчайшие частицы и оторван от субстанции, преломлен в воздухе и скользит по поверхности вещей — отсюда и впечатление призрачности (ghostly), и в то же время затуманенности, полупрозрачности, спокойствия и оттененности пейзажей. Отсюда эффект миража, и вдобавок миража времени, столь близкого к полной иллюзии. Камни, пески, кристаллы, кактусы — все это вечно и вместе с тем эфемерно, нереально и оторвано от своих субстанций. Растительность скудна, но каждой весной она чудесным образом расцветает. Зато свет субстанциален, распылен в воздухе, именно он сообщает всем цветам тот характерный пастельный оттенок, который подобает развоплощению, отделению души от тела. В этом смысле можно говорить об абстрактности пустыни, об органическом освобождении, об обратной стороне низменного перехода тела к телесному небытию. Иссушенная, сияющая фаза смерти, где завершается разложение тела. Пустыня находится по ту сторону этой проклятой фазы гниения, этой влажной фазы тела, этой органической фазы природы.

Пустыня — возвышенная форма, отстраняющая всякую социальность, всякую сентиментальность, всякую сексуальность. Слово, пусть даже ободряющее — здесь всегда неуместно. Нежности не имеют смысла, если только женщина сама не опустошена охватившим ее на мгновение животным состоянием, когда плотское желание сочетается с безводной развоплощенностью. Но ничто не сравнится с тем, когда на долину Смерти и на веранду перед дюнами, на бесплотные прозрачные кресла мотеля в молчании спускается ночь. Жара при этом не спадает, просто наступает ночь, разрываемая автомобильными фарами. Тишина неслыханная, или, наоборот, она вся слышима. Это не тишина холода или наготы, не тишина отсутствия жизни — это тишина теплоты всего простирающегося перед нами на сотни миль неорганического пространства, тишина легкого ветра, стелящегося по поверхности солоноватой грязи Бадватер, ветра, ласкающего металлоносные пласты на Телефон Пик. Внутренняя тишина самой аллеи, тишина подводной эрозии — ниже уровня течения времени, как и ниже уровня моря. Здесь нет движения животных, здесь ничто не спит, ничто не разговаривает во сне; каждый вечер земля погружается здесь в абсолютно спокойные сумерки, в темноту своего щелочного зачатия, в счастливую низину своего детства.

Задолго до отъезда я живу одними воспоминаниями о Санта-Барбаре. Санта-Барбара это всего лишь сновидение со всеми процессами, которые там протекают: набившая оскомину реализация всех желаний, конденсация, смещение, легкость… все это очень быстро становится ирреальным. О, прекрасные дни! Этим утром на балконе умерла птица, я сфотографировал ее. Но никто не безразличен к своей собственной жизни, и малейшие катаклизмы все еще вызывают волнение, В своем воображении я был здесь задолго до того, как приехал сюда, и внезапно это мое местопребывание стало хранилищем моей прошлой жизни. В последние недели время будто бы умножилось благодаря тому чувству, что меня уже больше не будет здесь и что каждый день я ощущаю Санта-Барбару, с ее роковой притягательностью и безвкусицей, как предопределенное место вечного возвращения.

В зеркальце заднего обзора памяти все исчезает, быстрее и быстрее. Два с половиной месяца изглаживаются за несколько мгновений переключения сознания, которое происходит еще более быстро, чем jet leg.[57] Сложно удержать живое восхищение, внезапное озарение, сложно сохранить силу воздействия вещей. Все это проходит скорее, чем возникает. Когда-то была милая привычка пересматривать фильмы; теперь она исчезает. Сомневаюсь, что мы будем переживать свою жизнь заново за одно мгновение смерти. Сама возможность Вечного Возвращения становится ненадежной: эта чудесная перспектива предполагает, что вещи

[57] Нарушение биологического ритма при перелете из одного часового пояса в другой.

должны восприниматься в необходимой и неизбежной последовательности, которая превосходит их самих. Ничего подобного нет сегодня, когда эта последовательность неустойчива и лишена будущего. Вечное Возвращение — это возвращение бесконечно малого, дробного, это навязчивый повтор микроскопического и нечеловеческого масштаба, это не экзальтация воли, не утверждение незыблемости одного и того же события, не его окончательное закрепление знаком, как этого хотел Ницше, — это вирусное возобновление микропроцессов, которое, разумеется, неизбежно, но которое никакой могущественный знак не сделает фатальным для воображения (ни атомный взрыв, ни вирусная имплозия не могут быть схвачены воображением). Таковы события, которые нас окружают: микроскопические и мгновенно стирающиеся.

Возвращаться из Калифорнии — значит возвращаться в уже виденный, уже изжитый нами универсум, который лишен очарования предшествующей жизни. Он был покинут в надежде, что он изменится в ваше отсутствие, но ничего такого не произошло. Он хорошо обходился без вас, и он быстро приспособится к вашему возвращению. Люди и вещи ведут себя так, чтобы создавалось впечатление, что вы и вовсе не уезжали. Я сам покинул все это без угрызений совести и обрету без особого волнения. Люди в тысячу раз больше заняты своими мелкими событиями, чем странностями какого-то чужого мира. Поэтому рекомендуется скромно приземлиться и вежливо сойти вниз, затаивая дыхание и воскрешая несколько картин, которые еще сияют в ваших воспоминаниях.

Противопоставление (а не сопоставление) Америки и Европы выявляет существующее между ними несоответствие и непреодолимый разрыв. И не просто разрыв, а целую пропасть современности — вот что нас разделяет. Современными рождаются, современными не становятся. Мы так никогда и не стали ими. В Париже бросается в глаза XIX век. Приезжая из Лос-Анджелеса, попадаешь в XIX век. Каждая страна несет в себе что-то вроде исторического предназначения, которое решительным образом определяет ее черты. Для нас — это буржуазная модель 1789 г. и бесконечное разложение этой модели, которая определяет очертания нашего пейзажа. Ничего не поделаешь: все здесь крутится вокруг буржуазных грез XIX века.

ВОПЛОЩЕННАЯ УТОПИЯ

Для европейца Америка и по сей день соответствует скрытой форме изгнания, фантазму эмиграции и изгнания и, таким образом, форме усвоения его же собственной культуры. В то же время Америка соответствует агрессивной экстраверсии и, таким образом, нулевой степени этой самой культуры. Никакая другая страна не воплощает с такой полнотой функцию раз-воплощения и в то же время обострения, радикализации того, что присутствует в наших европейских культурах… Внезапный переворот или шок, вызванный потерей своего географического пространства, которое, с точки зрения отцов-основателей XVII века, удваивает добровольную эмиграцию человека внутрь собственного сознания, на Новом Континенте превратили в прагматический экзотеризм то, что в Европе было критическим и религиозным эзотеризмом, Все устройство американского общества основывается, с одной стороны, на утверждении морального закона в сознании людей, на радикализации утопических требований, всегда носивших сектантский характер, а с другой стороны — на непосредственной материализации этой утопии в труде, нравах и образе жизни вообще. Прибытие в Америку и по сей день представляет собой приобщение к той «религии» образа жизни, о которой говорил Токвиль. Изгнание и эмиграция превратили материальную утопию образа жизни, успеха и действия в совершенную иллюстрацию нравственного закона и в какой-то мере трансформировали ее в первосцену. На нас, европейцев, оказала большое влияние революция 1789 года, отметившая нас, правда, иной печатью: печатью Истории, Государства и Идеологии. Нашей первосценой остаются политика и история, а не утопия и мораль. И если «трансцендентная» революция для европейца уже лишена целей и средств, то мы не можем сказать то же самое об имманентной

революции американского образа жизни, о том утверждении прагматизма и морализма, которое сегодня, как и вчера, составляет патетику Нового Света.

Америка — это оригинальная версия современности, мы же — версия дублированная или с субтитрами. Для Америки вопрос об истоке не существует, она не культивирует ни свои корни, ни какую-то мифическую аутентичность, она не имеет ни прошлого, ни основополагающей истины. Не ведая первичного накопления времени, Америка постоянно живет в современности. Не зная медленной, многовековой аккумуляции принципа истины, она живет постоянной симуляцией, в постоянной актуальности знаков. Америка не имеет своей пратерритории, земли индейцев сегодня превратились в резервации и представляют собой музеи вроде тех, где хранятся картины Рембрандта и Ренуара. Да это все и не важно — у Америки нет проблем, связанных с идентификацией. Ибо будущее могущество окажется в руках народов без корней, без аутентичности: народов, которые сумеют извлечь из этого все, что возможно. Посмотрите на Японию, которая в чем-то ярче, чем США, иллюстрирует это за счет непостижимого парадокса, связанного с преобразованием территориальной и феодальной замкнутости в могущество, не зависящее от исходных условий. Япония — это уже спутник планеты Земля, Но в свое время Америка была уже спутником планеты Европа. Хотим мы этого или нет, будущее — за искусственными спутниками.

Соединенные Штаты — это воплощенная утопия. Не стоит судить об их кризисе так же, как мы судим о нашем — кризисе старых европейских стран. У нас — кризис исторических идеалов, вызванный невозможностью их реализации. У них — кризис реализованной утопии, как следствие ее длительности и непрерывности. Идиллическая убежденность американцев в том, что они — центр мира, высшая сила и безусловный образец для подражания — не такое уж заблуждение. Она основана не столько на технологических ресурсах и вооруженных силах, сколько на чудесной вере в существование воплотившейся утопии — общества, которое с невыносимым, как это может показаться, простодушием, зиждется на той идее, что оно достигло всего, о чем другие только мечтали: справедливости, изобилия, права, богатства, свободы; Америка это знает, она этому верит и, в конце концов, другие тоже верят этому.

В современном кризисе ценностей весь мир в конце концов обращается к культуре, которая осмелилась путем сенсационного переворота разом материализовать эти ценности, к культуре, которая благодаря географической и ментальной отъединенности эмигрантов могла помыслить о том, чтобы создать во всех отношениях идеальный мир; не надо, к тому же, пренебрегать фантазматическим освещением всего этого в кино. Что бы там ни было, что бы ни думали о высокомерии доллара или корпорациях, американская культура благодаря бредовой убежденности, что в ней реализованы все мечты, притягательна для всего мира и даже для тех, кому она причиняет страдания.

Впрочем, убеждение это не столь уж бредовое: все общества, созданные первооткрывателями, в той или иной мере были идеальными. Даже иезуиты в Парагвае и португальцы в Бразилии создали в каком-то смысле идеальное, патриархальное, рабовладельческое общество, но, в отличие от модели северян — англосаксонцев и пуритан, модель южан не могла стать универсальной для современного мира. По мере того, как идеал экспортируется, гипостазируется по ту сторону океана, он очищается от своей истории, развивается, получая свежую кровь и энергию экспериментаторства, Динамизм "новых миров" всегда свидетельствует об их превосходстве над той страной, откуда они вышли: они осуществляют идеал, который остальные лелеют как конечную и (втайне) недостижимую цель.

В этом смысле колонизация была мировой сенсацией, оставившей повсюду, даже когда она закончилась, глубокие и ностальгичные следы. Для Старого Света она представляет единственный в своем роде опыт идеализированной коммутации ценностей, почти как в научно-фантастическом романе (атмосферу которого она сохраняет, как, например в Соединенных Штатах), что приводит к короткому замыканию в дальнейшей судьбе этих ценностей в тех странах, откуда они вышли. Внезапное появление этого общества на карте

сразу упраздняет значение обществ исторических. Усиленно экстраполируя свою сущность за море, последние теряют контроль над собственной эволюцией, Идеальная модель, которую эти общества выделили, упразднила их самих. И никогда больше эволюция не возобновится в форме плавного поступательного движения. Для всех ценностей — до сей поры трансцендентных — момент их реализации, проецирования или ниспровержения в реальное пространство (Америка) — момент необратимый. В любом случае именно это отличает нас от американцев. Мы никогда не догоним их, и мы никогда не будем иметь их простодушной убежденности. Мы можем лишь подражать им, пародировать их с опозданием на пятьдесят лет — впрочем, безуспешно. Нам недостает души и дерзости того, что можно было бы назвать нулевой степенью культуры, силой не-культуры. Так или иначе мы напрасно пытаемся приспособиться к этому видению мира, которое всегда будет ускользать от нас, точно так же как трансцендентальное и историческое мировоззрение (Weltanschauung) Европы будет ускользать от американцев. Так же, как страны третьего мира не в состоянии усвоить ценности демократии и технологического прогресса: непреодолимые разрывы существуют и не сглаживаются.

Мы останемся утопистами, тоскующими по идеалу, но, в сущности, испытывающими отвращение к его реализации, признавая, что все возможно, но никогда не признавая, что все осуществлено. Так утверждает Америка. Наша проблема заключается в том, что наши старые ценности — революция, прогресс, свобода — исчезли, прежде чем мы к ним приблизились, так и не получив возможности материализоваться. Отсюда и меланхолия. У нас нет никаких шансов на сенсацию.

Мы живем в отрицании и противоречиях, они живут в парадоксе (ибо идея воплощенной утопии парадоксальна). И особенности американского образа жизни во многом определяются этим прагматическим и парадоксальным юмором, в то время как наш образ жизни характеризуется (характеризовался?) изощренностью критического ума. Хотя американские интеллектуалы завидуют нам в этом и хотели бы усвоить эти идеальные ценности, историю, воскресить философские или марксистские деликатесы старой Европы. Вразрез со всем тем, что составляет их изначальное бытие, поскольку очарование и могущество американской вне-культуры в действительности происходит из непосредственной материализации и без каких-либо предшествующих моделей.

Когда я вижу американцев, особенно интеллектуалов, с тоской поглядывающих на Европу, ее историю, ее метафизику, кухню, прошлое, я говорю себе, что речь идет в данном случае о каком-то неудавшемся переносе. История и марксизм в чем-то подобны тонким винам и кухне: они не прижились за океаном, несмотря на трогательные попытки их привить. Это справедливый реванш за то, что мы, европейцы, так никогда и не смогли на деле приручить современность, которая оказалась не в состоянии пересечь океан в обратном направлении. Существуют продукты, которые не выносят транспортировки. Тем хуже для нас, тем хуже для них. Если для нас общество — это цветок ядовитый, то для них история — это цветок экзогенный. Его аромат внушает доверие не большее, чем букет калифорнийских вин (нас хотят сегодня заставить поверить в обратное, но из этого ничего не выходит).

Возникает ощущение, что не только историю, но и современную стадию развития капитала в этом «капиталистическом» обществе догнать никогда не удается. Да и нет вины наших марксистских критиков в том, что, как бы они ни гнались за капиталом, они не в состоянии за ним поспеть. Когда они настигают одну его фазу, он уже перешел к другой (Е. Мандел и его третья фаза мирового капитала). Капитал хитер, он не играет в критические игры, игры истории, он обманывает диалектику, которая описывает его лишь задним числом, в запаздывающей революции. Даже революции, направленные против капитала, совершаются лишь затем, чтобы дать новый импульс его собственной революции: они тождественны exogenous events,[58] о которых говорит Мандел, — таким, как войны или

[58] Экзогенное событие (англ.).

кризисы, как открытие золотых приисков, — событиям, которые переводят процесс развития капитала на другие рельсы. В конце концов все эти мыслители сами демонстрируют тщетность своих надежд. Заново изобретая капитал на каждой его стадии, исходя из примата политической экономии, они доказывают абсолютное лидерство капитала как исторического события. Они попадают в ловушку, которую сами себе уготовили, лишая себя малейшей надежды выбраться из нее. При этом подтверждается — и, может быть, в этом состоит их цель — бесконечность их запаздывающего анализа.

Америка никогда не испытывала недостатка ни в силе, ни в событиях, ни в людях, ни в идеях, но все это не составляет истории. Октавио Пас был прав, когда утверждал, что Америка создавалась с намерением ускользнуть от истории, построить утопию, в которой можно было бы укрыться от нее, в чем она, отчасти преуспев, упорствует и по сей день. Понятие истории как трансцендентности социального и политического разума, как диалектически противоречивого понимания общества не принадлежит американцам — точно так же и современность, понимаемая как изначальный разрыв с некоей подлинной историей, никогда не станет нашей. Мы уже довольно давно живем с тягостным ощущением этой современности, чтобы понять это. Европа создала определенный тип феодализма, аристократии, буржуазии, идеологии и революции: все это имело смысл для нас, но больше, в сущности, ни для кого. Все те, кто хотел подражать этому, стали посмешищем или роковым образом сбились с истинного пути (да и мы сами только имитируем себя, мы пережили самих себя). Америка же развивалась в отрыве от исторического прошлого в условиях современности: здесь и нигде больше современность самобытна. Мы можем только подражать ей, не имея сил бросить ей вызов на ее собственной территории. Если уж что-то произошло, то ничего не попишешь. И когда я вижу Европу, мечтающую любой ценой заполучить эту современность, я говорю себе, что и здесь тоже мы имеем дело с неудачным переносом.

Мы всегда в центре, но это центр Старого Света. Они, некогда представлявшие собой маргинальную трансцендентность этого Старого Света, сегодня оказались новым и экс-центричным центром. Экс-центрично само их рождение. Мы никогда не сможем этого отнять у них. Мы никогда не сможем экс-центрироваться, де-центрироваться так же, как они, мы никогда не будем современны в собственном смысле этого слова и никогда не будем иметь той же свободы — не формальной, которую мы пытаемся утвердить, но той конкретной, гибкой, функциональной, активной свободы, которую мы наблюдаем в американском обществе и в сознании каждого его гражданина. Наша концепция свободы никогда не сможет соперничать с их пространственной и подвижной свободой, которая является следствием их освобождения от исторической привязанности к центру.

С того дня, как по ту сторону Атлантики родилась во всей своей мощи эта эксцентричная современность, Европа начала исчезать. Все мифы сместились. Сегодня все мифы современности американские. Сокрушаться об этом не приходится. В Лос-Анджелесе Европа исчезла. Как сказал И. Хупперт, "У них есть все, Они ни в чем не нуждаются. Они завидуют, конечно, и восхищаются нашим прошлым и нашей культурой, но в сущности мы для них что-то вроде изысканного третьего мира".

В сфере политики от первоначальной децентрации навсегда останется федерализм, отсутствие центра, а на уровне культуры и нравов — децентрализация, эксцентричность, характерная, в отличие от Европы, для всего Нового Света. В Соединенных Штатах нет неразрешимой проблемы федерации (разумеется, была война между Севером и Югом, но мы говорим о настоящей федеральной общности), поскольку американцы с самого начала представляли собой культуру, соединившую все национальные и расовые особенности, соперничество и разнородность. Это становится очевидным в Нью-Йорке, где каждое здание по очереди властвовало над городом, где по-своему это делал и каждый этнос и где, однако, все это не порождает разобщенности, а создает определенную энергетику, где нет ни единства, ни множества, а есть только напряженность соперничества, сила антагонизма, создающая сообщество, взаимное притяжение членов коллектива, объединенных, помимо

культуры или политики, в неистовстве или в самой банальности образа жизни.

Тот же идейный уровень обусловливает основное различие расово-этнических особенностей в Америке и Франции. Там, в Америке, гремучая смесь из множества европейских рас, и, кроме того, рас экзогенных, породила особую ситуацию. Расовые различия изменили облик страны и придали ей характерную сложность. Во Франции изначально не существовало ни смешения, ни слияния рас, ни вызова, который бросает один этнос другому. Колониальная проблема, оторванная от своего исторического контекста, была просто-напросто перенесена в метрополию. Все иммигрировавшие — это, в сущности, харки,[59] находящиеся под социальным протекторатом своих угнетателей, от которых они отличаются только своей нищетой и фактической пожизненной ссылкой. Иммиграция, возможно, и животрепещущий вопрос, однако присутствие нескольких миллионов иммигрантов не наложило никакого отпечатка на жизнь французов, не изменило облик страны. Именно поэтому, когда возвращаешься во Францию, тебя преследует неотвязное впечатление бытового расизма — явления лживого и постыдного для всего мира. Таково следствие колониальной проблемы, в которой замешана нечистая совесть колониста и колонизированного. В то же время в Америке каждый этнос, каждая раса развивает свой язык, свою конкурентоспособную культуру, превосходящую подчас «коренную», и каждая группа по-очередности одерживает символическую победу. Речь идет не о формальном равенстве или свободе, но о свободе фактической, которая выражается в соперничестве и вызове, что придает конфронтации рас неповторимую динамику и открытость.

Наша европейская культура сделала ставку на универсальность, и опасность, которая ее подстерегает — пасть жертвой этой универсальности. В равной мере это относится как к расширению понятий рынка, денежного обмена или средств производства, так и к империализму идеи культуры. Надо остерегаться этой идеи, которая, как и идея революции, стала универсальной, лишь превратившись в абстракцию, и благодаря этому стала так же пожирать сингулярности, как революция своих собственных детей.

Следствием этой претензии на универсальность, является ее равная неспособность принимать различные формы внизу и объединяться в федерацию наверху. Нация или культура, ставшая централизованной в результате длительного исторического процесса, испытывает непреодолимые трудности как в плане создания жизнеспособных подмножеств, так и в плане интегрирования в когерентные сверхмножества. Над самим процессом централизации тяготеет некий рок. Отсюда возникают нынешние трудности обрести порыв, культуру, европейский динамизм. Отсюда — неспособность продуцировать событие федерального масштаба (Европа), местного масштаба (децентрализация), расовой или многорасовой природы (смешанность). Слишком прочно увязнув в своей истории, мы способны лишь на стыдливую централизованность (плюрализм а ля Клошмерль) и стыдливую скученность (наш вялый расизм).

Принцип воплощенной утопии объясняет отсутствие метафизики и воображения в американской жизни, а также их бесполезность. Он создает у американцев восприятие реальности, отличное от нашего. В реальном нет ничего невозможного, и никакие неудачи не могут заставить усомниться в этом. Что было помыслено в Европе, реализуется в Америке — все, что исчезает в Европе, вновь пояляется в Сан-Франциско!

В то же время идея воплощенной утопии — идея парадоксальная. Если европейское мышление характеризуется негативизмом, иронией, возвышенностью, то мышление американцев характеризуется парадоксальным юмором свершившейся материализации, всегда новой очевидности, всегда удивляющей нас свежести законно свершившегося факта, юмором естественной видимости вещей, в то время как мы склоняемся к тревожному синдрому deja vu — и мрачной трансцендентности истории.

Мы упрекаем американцев за то, что они не умеют анализировать и создавать

---

[59] Алжирцы — служившие во вспомогательных частях французской армии в Алжире (с 1954 по 1962 гг)

концепции. Но, обвиняя их в этом, мы несправедливы. Мы воображаем, что все сосредоточивается в трансцендентности, и что не существует ничего, кроме того, что было помыслено в понятии трансцендентного. Они же не только совершенно не заботятся об этом, но видят все это в обратной перспективе. Для них важно не осмысливать реальность, но реализовывать понятие и материализовывать идеи. Не только идеи религии и просвещенной морали XVIII века, но и сновидения, научные достижения, сексуальные перверсии. Они материализуют свободу, а также бессознательное. Они материализуют наши фантазмы пространства и вымысла, а также стремление к искренности и добродетели, или невероятные технические проекты — все то, о чем грезили по эту сторону Атлантики, получило шанс реализоваться по ту. Они производят реальное, исходя из своих собственных идей, мы трансформируем реальное в идеи или в идеологию. В Америке имеет смысл только то, что происходит или проявляется, для нас — только то, что мыслится или скрывается. Даже материализм в Европе — это только идея, тогда как в Америке материализм воплощается в технической модернизации вещей, в преобразовании образа мышления в образ жизни, в «съемке» жизни, как говорят в кино: Мотор! — и камера заработала. Ибо материальность вещей — это, конечно же, их кинематография.

Американцы верят в факты (fait), но не в сделанность (facticite). Они не знают, что факт, как предполагает само это слово, сделан. Им свойственна вера в факты, в тотальную истинность того, что делается, и того, что видится, без оглядки на то, что мы называем видимостью, или правилами приличия; то же самое касается самой прагматической очевидности вещей: выражение лица не обманывает, поведение не обманывает, научный процесс не обманывает — ничто не обманывает, ничто не амбивалентно (и, в сущности, так все и есть: ничто не обманывает, обмана не существует, существует только симуляция, которая как раз и есть сделанность факта), благодаря своей вере в свершившийся факт, наивности дедукций, непризнании злого начала в вещах американцы составляют подлинное утопическое общество Надо быть утопистом, чтобы думать, что в обществе, каким бы оно ни было, все может быть столь наивным. Другие общества отмечены какой-нибудь ересью, диссидентством, недоверием к реальности, верой в нечистую силу и в заговоры против нее, верой в значимость приличий. Здесь же нет ни диссидентства, ни сомнения, король голый, а все факты — на ладони. Хорошо известно, что американцы очарованы желтыми расами, в которых они предполагают существование высшей формы хитрости, этого отсутствия истины, которого они так боятся.

Американскому обществу, правда, не хватает иронии, так же как и общественной жизни, веселья. Внутреннее очарование манер, театр социальных связей — все перенесено на внешнее, на рекламу жизни и образа жизни. Это общество, которое неутомимо оправдывается в собственном существовании. Всему должна быть придана гласность — что почем, кто сколько зарабатывает, кто как живет, и для игры более тонкой не остается места Внешность (look) этого общества — самореклама. Подтверждение тому — повсюду мелькающий американский флаг: на плантациях, в населенных пунктах, на станциях обслуживания, на надгробных плитах, и это не знак доблести, а своего рода знаменитый фирменный знак. Просто-напросто лейбл самого прекрасного, преуспевшего многонационального предприятия: США. Именно так, наивно, без иронии и протеста, его живописали гиперреалисты (Джим Дайн в шестидесятые годы), подобно тому как некогда поп-арт радостно переносил на свои полотна удивительную банальность товаров потребления. Во всем этом нет ничего от злой пародии Джимми Хендрикса на американский гимн. Единственное, что можно там найти, так это легкую иронию, нейтральный юмор приевшихся вещей, юмор mobile-home и огромного гамбургера пятиметровой длины на биллбоарде, поп- и гипер-юмор, столь характерный для американской среды, где вещи словно наделены снисходительностью в отношении собственной обыденности Но точно так же они снисходительны и к собственному безумию. Говоря более обобщенно, они не претендуют на экстраординарность, они сама экстраординарность. Они суть та экстравагантность, которая всегда придает Америке ее необычность, а отнюдь не

сюрреалистичность (сюрреализм — все еще эстетическая, чисто европейская по духу, экстравагантность); нет, здесь экстравагантность перешла в вещи. Безумие, субъективное у нас, стало здесь объективным. Ирония, у нас субъективная, сделалась объективной здесь. Фантасмагоричность, чрезмерность, которые у нас характеризуют ум и мышление, здесь перешли в вещи.

Какими бы ни были скука и кошмар американской повседневности — не чуждые и другим странам, — американская рутина будет в тысячу раз интереснее, чем европейская, и в особенности французская Может быть, потому, что обыденность родилась здесь из крайней протяженности, экстенсивной монотонности и предельной вне-культурности. В Америке рутинность задана изначально — как иная крайность, как обратная сторона скорости, вертикальности, чрезмерности, доходящей до бесстыдства, и безразличия к ценностям, граничащего с аморализмом. Тогда как французская рутина представляет собой отбросы буржуазной повседневности, порожденной концом аристократической культуры и превратившейся в мелкобуржуазный маньеризм, то сама буржуазия убывала как шагреневая кожа в течение всего XIX века. В этом все и дело: нас отделяет от них труп буржуазии, именно она принесла нам хромосому пошлости, в то время как американцы сумели сохранить юмор в материальных проявлениях очевидности и богатства.

По той же причине все, что относится к области статистики, европейцы воспринимают как злой рок, как свое личное поражение и бросают судорожный вызов цифрам. Для американцев, напротив, статистика является оптимистическим стимулом, показателем успеха, счастливым приобщением к большинству. Это единственная страна, в которой количество может восхищаться собой без всяких угрызений совести.

Снисходительность и юмор, сказавшиеся в пошлости вещей, характерны для американцев как в отношении самих себя, так и в отношении к другим. У них приятная, неторопливая манера размышлять. Они не претендуют на то, что мы называем умом, они не чувствуют угрозы со стороны ума других. Для них это всего лишь форма индивидуального сознания, которой не следует слишком гордиться. Они не стремятся сходу что-либо отрицать или опровергать, их естественный порыв — одобрять Когда мы говорим: я с вами согласен — то только для того, чтобы потом все опровергнуть, Когда американец говорит, что согласен с вами, это произносится со всей искренностью, без всякой задней мысли. Но очень часто он подтвердит ваш анализ фактами, статистическими данными или жизненным опытом, которые де факто лишают этот анализ всякой концептуальной ценности.

Эта не лишенная юмора снисходительность к себе свидетельствует об обществе, уверенном в своем богатстве и своем могуществе, что, вероятно, в какой-то мере подтверждает высказывание Ханны Арендт, что американская революция, в отличие от всех европейских, революция успешная. Но даже у этой успешной революции есть свои жертвы и свои символы жертвенности, Например, убийство Кеннеди, на котором, в конечном счете, основывается современное правление Рейгана. Это убийство никогда не было ни отмщено, ни как-то объяснено, и на это есть свои основания. Не будем говорить об истреблении индейцев, энергетика которого и по сей день распространяется по всей Америке. Это свидетельствует не только о снисходительности, но и об агрессивности саморекламы, самооправдания американского общества, о торжествующей агрессивности, которая является необходимым компонентом успешных революций.

Токвиль с жаром описывает преимущества демократии и американской конституции, восхваляя свободный образ жизни и спокойствие нравов (а не равенство перед законом), превосходство моральной организации общества (а не политической). Затем он с тем же здравомыслием описывает уничтожение индейцев и положение черных, ни разу не сопоставляя два эти факта. Словно добро и зло развивались независимо друг от друга. Можем ли мы, живо ощущая то и другое, абстрагироваться от их связи? Разумеется, сегодня мы сталкиваемся с тем же самым парадоксом: мы никогда не постигнем тайну, которая связывает зло, лежащее в основе величия, с самим этим величием. Америка могущественна и оригинальна, Америка агрессивна и отвратительна — не стоит пытаться вычеркнуть одно

или другое или связать одно с другим.

Но как обстоит дело с этим парадоксальным величием, с этим своеобразным положением Нового Света, каким его описывал Токвиль? Что же произошло с американской «революцией», которая состояла в динамическом сопряжении интересов личности и хорошо темперированной коллективной морали? Эта проблема была неразрешима в Европе, и именно по этой причине она составляла в течение XIX века проблематику истории, государства и исчезновения государства, которую Америка не знает. Как обстоит дело с описанным Токвилем вызовом: может ли нация заключить договор о власти на одном только основании заурядных интересов отдельного индивида? Может ли существовать соглашение о равенстве и банальности (с точки зрения выгоды, права и богатства), сохраняющее печать доблести и самобытности (ибо что такое общество без элемента героического)? Короче говоря: сдержал ли Новый Свет свои обещания? Ощутил ли он в полной мере торжество свободы или только вред равенства?

Свободу и пользование этой свободой чаще всего связывают с расцветом американского могущества. Но свобода сама по себе не создает никакого могущества. Свобода, понимаемая как общественная деятельность, как коллективный дискурс общества о своих собственных начинаниях и своих собственных ценностях, скоро затерялась в индивидуальной свободе нравов и пропаганде (которая, как известно, есть один из главных видов активности американцев). Следовательно, американское могущество породило равенство и то, что из него вытекает. Об этом равенстве прекрасно сказал Токвиль: " Я упрекаю равенство вовсе не в том, что оно вовлекает людей в погоню за запрещенными наслаждениями, а в том, что оно полностью поглощает их поиском наслаждений дозволенных"; равенство — это современное выравнивание статусов и ценностей и малозначительность черт и характеров, вызывающее упомянутое могущество к жизни. В связи с этим равенством и возникает парадокс Токвиля: американское общество тяготеет одновременно к абсолютной незначимости (все вещи стремятся к тому, чтобы уравняться и раствориться в общем могуществе) и к абсолютной оригинальности — сегодня еще больше, чем сто пятьдесят лет тому назад: отдача возросла благодаря географическим масштабам. Гениальный универсум, появившийся благодаря неудержимому развитию равенства, пошлости и незначимости.

Этот динамизм общности, захватывающая динамика уничтожения различий ставит, как об этом сказал Токвиль, новую проблему перед социологией. К тому же, странно наблюдать, как мало изменились американцы за два столетия; они изменились гораздо меньше, чем европейские общества, захваченные политическими революциями XIX столетия; американцы, отгороженные океаном, просторы которого сделали из них что-то вроде острова во времени, сохранили в целости и сохранности утопическую и моральную перспективу мыслителей XVIII века или даже пуританских сект XVII века, трансплантированную и укрытую в надежном месте от всех исторических перипетий. Этот пуританский и моральный гистерезис — гистерезис изгнания и утопии. Мы их обвиняем: почему революция не произошла здесь, в новой стране, в стране свободы, передовом бастионе капитализма? Почему «социальное», «политическое», наши излюбленные категории, так слабо усвоены здесь? Дело в том, что, поскольку европейские социальные и философские воззрения XIX века не пересекли Атлантику, в Америке по-прежнему процветают утопия и мораль, идея счастья и чистоты нравов, иными словами все то, с чем в Европе политическая идеология, во главе с Марксом, покончила, создав «объективную» концепцию исторического развития. Именно с этой точки зрения мы приписываем американцам их историческую наивность и моральное лицемерие. Но в своем коллективном сознании они больше предрасположены к моделям мышления XVIII века: утопической и прагматической, нежели к тем, которые были навязаны Французской революцией: идеологической и революционной.

Почему секты здесь так могущественны и так динамичны? Водоворот рас, институтов и технологий должен был бы давно их поглотить. Но как раз здесь они и выжили, сохранив

изначальную мистическую восторженность и моральную одержимость. Каким-то образом именно сектантская микромодель разрослась до масштабов всей Америки. С самого начала секты играли главную роль в этом переходе к реализованной утопии, который представляет собой эквивалент реализации подавленного желания. Они живут утопией (Церковь ее рассматривает в качестве возможной ереси) и стремятся приблизить Царство Божие на земле, в то время как Церковь уповает на спасение и христианские добродетели.

Предназначение секты как будто разделила вся Америка: все пути спасения были немедленно определены. Существование множества разных сект не должно вводить нас в заблуждение: ведь в Америке моральные устои, потребность в вечном блаженстве, реальная отдача, неизменное стремление к самооправданию и, возможно, психоз и неистовая восторженность сектанства затрагивают всю страну целиком.

Если Америка потеряет эту моральную перспективу самой себя, она рухнет. Это, может быть, и неочевидно европейцам, для которых Америка — это циничная держава, а ее мораль — лицемерная идеология. Мы не хотим верить тому, что сами американцы думают о своей морали, и мы не правы. Когда они серьезно задаются вопросом, почему они вызывают такую ненависть у других народов, мы не вправе улыбаться этому, ибо сам этот вопрос делает возможным и Уотергейт, и безжалостное изобличение коррупции и общественных пороков в кино и масс-медиа — ту свободу, о которой мы, воистину лицемерное общество, можем только мечтать, так как у нас скрытность, респектабельность и буржуазная аффектация всегда окутывают личные и общественные дела.

Главная мысль Токвиля состоит в том, что дух Америки заключен в ее образе жизни, в революции нравов, в революции морали. Последняя устанавливает не новую законность, не новое Государство, а лишь одну практическую легитимность: легитимность образа жизни. Спасение отныне не Божий и не государственный промысел, но дело идеально устроенной жизни. Стоит ли здесь вспоминать о протестантском требовании секуляризации совести, переноса божественной юрисдикции в повседневную дисциплину? Действительно, например в религии, которая проникла в нравы, уже невозможно усомниться, а ее основания пересмотрены, поскольку она утратила трансцендентальную ценность. Такая религия подобна образу жизни. То же и с политикой: проникнув в сферу нравственности в качестве прагматического механизма, игры, взаимодействия, зрелища, она не может больше рассматриваться с собственно политической точки зрения. Не существует больше идеологического или философского принципа власти, все одновременно и более наивно, и более конъюнктурно. Это не значит, что не существует никаких стратегий, но это стратегии возможностей, а не целей. И сексуальность также пропитала нравы, и, следовательно, тоже утратила трансцендентную значимость как объект запрета, анализа, наслаждения или трансгрессии. Сексуальность «экологизировалась», психологизировалась, секуляризовалась для домашнего пользования. Она проникла в образ жизни.

Превосходство нравов, главенство образа жизни означает, что абстрактная универсальность закона уступает место конкретному регулированию обменов. Закон не нуждается в вашем согласии: предполагается, что вам вменяется в обязанность его знать и подчиняться ему. Но и неподчинение закону возвеличивает вас, и история одновременно прославляет торжество закона и тех, кто не подчинился ему. В американской системе поражает то, что не существует никакой заслуги в неподчинении закону, нет престижа в нарушении закона или несогласии с ним. Это и есть тот знаменитый американский конформизм, в котором мы видим проявление социальной и политической слабости. Но согласие здесь скорее основывается не на абстрактном законодательстве, а на конкретном регулировании, на неформальном применении законов, а не на формальной инстанции, Что же означает несогласие с каким-либо правилом или опровержение судебного постановления? Следует разобраться в этом условном, прагматическом единодушии американцев в отношении поведенческих норм, основанном на своего рода моральном, а не общественном договоре, и сравнимом не столько с правилами дорожного движения, которые может нарушать кто угодно, сколько с консенсусом, регулирующим движение автомобилей на

автострадах. Этот конформизм сближает американское общество с обществами первобытными, где с нравственной точки зрения было бы абсурдно не соблюдать правил, установленных коллективом. Соответственно конформизм не является таким уж «наивным»: он — следствие пакта, заключенного на уровне нравов, совокупности правил и норм, предполагающих в качестве принципа функционирования почти добровольное согласие, тогда как в Европе распространилось чуть ли не ритуальное неподчинение собственной системе ценностей.

Этот «конформизм» — отражение некоторой свободы: свободы от предрассудков и претензий. Можно допустить, что отсутствие предрассудков у американцев связано с отсутствием способности к суждению. Это было бы несправедливо, но, в конечном счете, почему не предпочесть подобное легкое решение нашему тяжелому и претенциозному решению? Посмотрите на эту девушку, обслуживающую вас в guestroom: она это делает совершенно свободно, с улыбкой, без всяких задних мыслей и претензий, как если бы просто сидела перед вами. Вещи не равны между собой, но она и не претендует на равенство; ведь оно обеспечено нравами. Гарсон из сартровского кафе совсем на нее не похож, он совершенно отчужден от того, что представляет собой, и выполняет свою работу, неизменно прибегая к метаязыку жестов, он изображает свободу и равенство с нами, ничего этого не имея. Отсюда несчастная надуманность его поведения, свойственная у нас почти всем социальным классам. Этот вопрос о равенстве нравов, свободе нравов, не только не был никогда разрешен, но даже не был по-настоящему поставлен в нашей культуре, где рассматривался лишь вопрос о политическом или философском равенстве, и это вновь отсылает нас к нашему вечному притязанию на равенство. В Америке обычно мы удивляемся, что люди почти естественно забывают о разнице положений, отношения строятся легко и свободно. Эта легкость может представляться нам пошлой или вульгарной, но она никогда не смешна. Смешно наше неестественное поведение.

Достаточно увидеть, как какое-нибудь французское семейство устраивается на калифорнийском пляже, чтобы почувствовать отталкивающую тяжеловесность нашей культуры. Группа американцев не замыкается, кружок французов немедленно создает вокруг себя замкнутое пространство, американский ребенок удирает от взрослых, французский крутится вокруг своих родителей. Американцы всегда заботятся о том, чтобы было холодное пиво со льдом, французы — чтобы соблюдать табель о рангах и показное благополучие. На американских пляжах много движения, француз же старается застолбить себе песчаную вотчину. Француз рисуется во время своего отпуска, но сохраняет всю посредственность своей мелкобуржуазности. Об американцах можно сказать все что угодно, только не то, что они посредственны или мелкобуржуазны. У них, конечно, нет аристократической грации, но у них есть пространственная свобода, у них есть свобода тех, кто всегда располагал пространством, и это заменяет им хорошие манеры и благородное происхождение. Телесная свобода, порожденная пространственной, легко компенсирует слабую выраженность черт и характера. Вульгарно, но easy.[60] Наша культура — культура переуплотненности, которая порождает манеры и ненатуральное поведение, их культура — демократическая культура пространства. Мы свободны в своем мышлении, они свободны в своих поступках. Американец, который разъезжает по пустыне или по своим национальным паркам, не производит впечатления, будто находится на каникулах. Движение — его естественное занятие, природа — граница и место действия. В этом нет ничего от вялого романтизма и галло-романского покоя, из которого состоит наш досуг. Ничего, что напоминало бы отпуск в том виде, в каком он изобретен у нас Народным фронтом: деморализующая атмосфера свободного времени, вырванного у государства, потребляемого с плебейской радостью и показной заботой о честно заработанном досуге. В Америке свобода не имеет статичного или негативного определения, ее определение пространственное и мобильное.

---

[60] Непринужденно (англ.).

Вывод из всего этого таков, что свобода и равенство, так же как непринужденность и благородство манер, существуют только как изначально данные. В этом и есть демократическая сенсация равенство дается в начале, а не в конце. В этом разница между демократией и эгалитаризмом: демократия предлагает равенство в начале, эгалитаризм — в конце. Демократы требуют, чтобы граждане были равны на старте, эгалитаристы настаивают, чтобы все были равны на финише.

Тем не менее, когда уже ничто более не находится во власти осуждения или предрассудков, возрастает не только терпимость, но и безразличие. Уже не пытаясь встретить взгляд другого, люди в конце концов перестают видеть друг друга. Так, на улицах сталкиваются, не глядя друг на друга, и то, что может показаться проявлением сдержанности и вежливости, на деле проявление безразличия. По крайней мере, это безразличие — не притворство. Это одновременно и достоинство, и недостаток

Если я говорю об американском "образе жизни", то только для того, чтобы подчеркнуть его утопичность, мифическую обыденность, мечтательность и размах. Эта его философия присуща не только техническому прогрессу, но и процессам, которые в своей чрезмерности технического выходят за пределы техники, не только современности, но и излишеству современных форм (будь то вертикальность Нью-Йорка или горизонтальность Лос-Анджелеса), не только пошлости, но и апокалиптическим формам этой пошлости, не только реальности повседневной жизни, но и гиперреальности этой жизни, которая в том виде, в каком она существует, обладает всеми свойствами вымысла. Именно эти черты вымысла и производят такое захватывающее впечатление. Ведь сам вымысел не является воображаемым. Он предвосхищает воображаемое путем его реализации. У нас наоборот — мы предвосхищаем реальность, воображая ее, или избегаем ее, идеализируя. Именно поэтому мы никогда не окажемся в подлинном вымысле, мы обречены на воображаемое и на ностальгию по будущему. Американский образ жизни есть непроизвольно вымышленный, поскольку превосходит воображаемое в реальности.

Вымысел также не является абстракцией, и если существует некоторое бессилие Америки перед лицом абстракции, то эта слабость блестяще воплощается в дикой реальности средней Америки, в апофеозе повседневности, в том гении предприимчивости, который так нас поражает. Может быть, эта успешная революция имеет уже не совсем то значение, которое придавал ей Токвиль: стихийные колебания общественного мнения, спонтанные или конкретные формы приведения нравов в соответствие с современными ценностями. Знаменитую американскую действительность надо искать не в развитии института государства, а в либерализации технологии и имиджей, в аморальной динамике этих имиджей, в феерии товаров и услуг, могущества и бесполезной энергии (но кто скажет, где исчезает энергия полезная?), когда резонанс рекламного мнения гораздо сильнее резонанса общественного. Но в, конце концов, это и есть черты либерализации, а непристойность общества — его знак. Либерализация всех последствий без исключения, вплоть до самых немыслимых и отвратительных, но пик свободы, ее логическое следствие в зрелищной оргии, в скорости, в мгновенности изменений, в общей эксцентричности. Политика высвобождается в зрелище, в рекламном эффекте любой ценой, сексуальность высвобождается во всех своих аномалиях и перверсиях (включая отказ от нее — последний штрих моды, переохлаждение вследствие сексуальной свободы), нравы, обычаи, тела и язык высвобождаются в ускорении моды. Освобожден не человек в его идеальной реальности, в его внутренней истине или его открытости — освобожден человек, который меняет пространство, который движется, который меняет пол, одежду, нравы в соответствии с модой, а не в соответствии с моралью, который меняет мнения в соответствии с образцами мнений, а не в силу внутренних убеждений. Это и есть реальное освобождение, хотим мы этого или нет, нравится нам его расточительность и непристойность или нет. Впрочем, жители «тоталитарных» стран хорошо знают, что именно это и есть подлинная свобода, и мечтают именно об этом: о моде, о моделях, идолах, игре имиджей, свободе передвижения, о рекламе, разгуле рекламы. Об оргии, короче говоря. Нужно, однако, подчеркнуть, что

именно Америка конкретно, технически реализовала эту оргию свободы, безразличия, отрыва, выставления напоказ и движения. Не знаю, что остается от успешной революции, которую Токвиль определил как революцию политической свободы и качества общественного сознания (Америка сегодня сочетает лучшее и худшее в этой сфере), но она — эта революция — конечно, победила, тогда как мы, потерпев неудачу в наших исторических абстрактных революциях, упускаем и эту. Мы впитали помимо нашей воли логические следствия современности, революции образа жизни, с ее излишествами, с примесью очарования и враждебности. Мы, в Европе, увязли в культе различий и, следовательно, отстаем от радикальной современности, основанной на безразличии. Мы становимся современными и безразличными неохотно, отсюда — столь тусклый блеск нашей современности, отсутствие современного духа в наших начинаниях. У нас нет даже злого духа современности, превращающего изобретения в экстравагантные новшества, что придает им некую фантастическую свободу.

Все то, что героически разыгрывалось и разрушалось в Европе под знаком Французской революции и Террора, реализовалось по ту сторону Атлантики более простым и доступным способом (утопия богатства, права, свободы, общественного согласия и репрезентации). То же случилось с нашими мечтаниями, находящимися под радикальным знаком антикультуры, ниспровержения смысла, деструкции разума и конца репрезентаций, — вся эта антиутопия, которая вызвала в Европе столько теоретических, политических, эстетических и социальных конвульсий, так никогда в действительности и не реализовавшаяся (май 68-го последний тому пример), воплотилась здесь, в Америке, более простым и более радикальным образом. Здесь реализовалась утопия, здесь реализуется антиутопия: антиутопия безрассудства, де-территоризации, неопределенности субъекта и языка, нейтрализации всех ценностей, конца культуры. Америка реализовала все, и достигла этого эмпирическим, стихийным способом. Пока мы погружены в наши мечтания и лишь время от времени пытаемся действовать, Америка извлекает логические, прагматические следствия из всего, что только можно постичь. В этом смысле она наивна и примитивна, она не умеет иронизировать ни над понятиями, ни над соблазном, ни над будущим или над своей собственной судьбой, она вершит, она материализует. Утопическим крайностям она противопоставляет крайность эмпирическую, которую драматически реализует. Мы рассуждаем о конце множества вещей, но именно здесь они находят свой конец. Здесь они уже утратили свою территорию (у них есть только чудесное пространство), здесь реальное и воображаемое завершились (открыв все пространства для симуляции). Именно здесь надо искать идеальный тип конца нашей культуры. Этот американский образ жизни, который мы рассматриваем как наивный или нулевой в культурном отношении, даст нам полную аналитическую картину конца наших ценностей — тщетно нами предсказываемую — в том масштабе, который ему сообщают географические и интеллектуальные границы утопии.

Но тогда это и есть реализованная утопия, это и есть успешная революция? Да, конечно! А чем же, по-вашему, должна быть «успешная» революция? Это рай. Санта-Барбара — это рай, Диснейленд — это рай, Соединенные Штаты — это рай. Рай — то, что порой оказывается монотонным, поверхностным, и, возможно, похоронным. Но, тем не менее, это рай. И другого такого нет. Если вы захотите осуществить ваши мечты, не только политические и сентиментальные, но теоретические и культурные, вам придется восхищаться Америкой так же наивно, как это делали пионеры Нового Света. Вы будете восхищаться воодушевлением, с которым американцы воспринимают собственный успех, грубость и мощь своей страны. Иначе вы не поймете в них ничего, и ничего не поймете о своей собственной истории или ее конце. Ибо Европа уже не в состоянии постичь, глядя на себя изнутри. Соединенные Штаты более загадочны: тайна американской реальности превосходит наши вымыслы и наши интерпретации. Тайна общества, которое не пытается ни определить свое значение, ни самоидентифицироваться, которое не довольствуется ни трансцендентностью, ни эстетикой и которое как раз по этой причине создает уникальные небоскребы, представляющие собой предел вертикальных форм, не подчиняющиеся

правилам трансцендентности, представляющие собой самую удивительную архитектуру, но не подчиняющиеся законам эстетики, сверхсовременные, сверхфункциональные здания, которые несут в себе нечто не умозрительное, а примитивное и дикое — культура, или вне-культура, подобная этой, для нас тайна.

Интроверсия, рефлексия, эффекты смысла, скрывающиеся в понятии, — все это нам знакомо. Но объект, освободившийся от своего понятия, свободно раскрывающийся в экстраверсии и тождественности всех своих эффектов, — это загадка. Подобная экстраверсия для нас таинство — такое же, каким для Маркса был товар: иероглиф современного мира (таинственный именно потому, что экстравертированный), форма, реализующаяся в своем чистом обмене и обороте (хэлло, Карл!).

В этом смысле вся Америка представляет собой для нас пустыню. Культура здесь дика: она приносит в жертву интеллект и любую эстетику, буквально вписывая их в реальное. Возможно, эта дикость явилась следствием перемещения культуры в новые земли, но возможно также, что все это было невольно позаимствовано у истребленных впоследствии индейцев. Мертвый индеец остается таинственным гарантом примитивных механизмов, которые обнаруживаются даже в современных имиджах и технологиях. Может быть, американцы, считавшие, что истребили индейцев, возможно, лишь распространили инфекцию? Они проложили через пустыни автотрассы, разлиновали их и прошли насквозь, но их города благодаря мистическому взаимодействию переняли структуру и цвет пустыни. Американцы не упразднили пространство, они просто сделали его бесконечным, уничтожив его центр (подобно своим простирающимся до бесконечности городам). Таким образом они открыли подлинно вымышленное пространство. В "первобытном мышлении" тоже отсутствует естественный универсум, там не существует трансцендентности человека, природы и истории; культура — это все или ничто, как вам угодно. Та же неразличимость обнаруживается и в высшей точке современной симуляции. Здесь тоже не существует естественного универсума, и вы не в состоянии провести различие между пустыней и метрополией. Как индейцы не были бесконечно близки к природе, так и американцы не бесконечно от нее далеки: те и другие находятся по разные стороны идеальности природы и идеальности культуры, и в равной мере далеки от той и другой.

Здесь не существует ни культуры, ни культурного дискурса. Ни министров, ни комиссий, не субсидий, ни промоушена. Культурный пафос, владеющий всей Францией, фетишизм ее культурного наследия, ее сентиментальные взывания, а сегодня еще и государственная поддержка и протекционизм в Америке отсутствуют. Бобур здесь невозможен так же, как в Италии (только по другим причинам). Не только централизация, но сама идея культивируемой культуры здесь не существует, точно так же как и идеи теологической и сакральной религии. Нет ни культуры культуры, ни религии религии. Можно было бы, скорее, говорить об «антропологической» культуре, которая заключается в формировании нравов и образа жизни. Только это и представляет интерес, так же как интересны только улицы Нью-Йорка, а не его музеи. Даже в балете, кино, литературе, фантастике, архитектуре все специфически американское несет в себе нечто дикое, не знающее ни блеска риторики, ни театральности нашей буржуазной культуры, не расцвеченное культурными различиями.

Американская культура — не то чудесное средство, которую у нас потребляют в сакраментальном ментальном пространстве и которая имеет право на свое особое место в сознании и периодических изданиях. Культура здесь — это пространство, это скорость, это кино, это технологии. Она аутентична, если мы вообще можем так сказать о чем-либо. Кино, скорость, технические достижения не прилагаются к ней сверх прочего (у нас же повсюду ощущается эта привнесенная, разнородная, анахроничная современность). В Америке кино — настоящее, поскольку все пространство, весь образ жизни — все кинематографично. Разрыв и абстракция, которые мы оплакиваем, здесь не существуют: жизнь — это кино.

Именно поэтому погоня за произведениями искусства или интересными культурными событиями всегда казалась мне скучной и неуместной. Чертой культурного этноцентризма.

Если изначальна вне-культура, тогда ее и необходимо искать. Если понятие вкуса еще что-то значит, он велит нам не экспортировать наши эстетические критерии туда, где они неприемлемы. Когда американцы переносят наши романские монастыри в Клойстерс Нью-Йорка, мы не можем простить этого выхолащивания смысла. Нет никакого смысла переносить туда наши культурные ценности. У нас нет права на подобное смешивание. Они же в каком-то смысле таким правом обладают, поскольку обладают пространством, преломляющем все прочие. Когда Поль Гетти в Малибу, на вилле, словно перенесшейся из Помпеи на берег Тихого океана, собирает картины Рембрандта, импрессионистов, и греческую скульптуру, он действует по американской логике, по чистой барочной логике Диснейленда, он оригинален, и это потрясающее проявление цинизма, наивности, китча и непринужденного юмора — всего того, чем поражает нонсенс. Ведь в самом деле — исчезновение эстетики и возвышенных ценностей в китче и гиперреальности очаровывает, равно как исчезновение истории и реального в телевизуальном. Из этой дикой прагматики ценностей необходимо извлекать хоть какое-то удовольствие. Если вы держите в голове только ваш воображаемый музей, вы проходите мимо сущности (которая на деле бессущностна).

Телереклама, прерывающая фильмы, которые идут по ТВ, конечно, бесцеремонна, но она всего лишь трезво подчеркивает, что большая часть телевизионной продукции никогда не достигает "эстетического уровня", и что эти фильмы, в сущности, явления того же порядка, что и сама реклама. Большинство фильмов, и притом не самых худших, созданы все из того же романса повседневности: машины, телефон, психология, макияж — все это просто-напросто иллюстрирует образ жизни. Так же, как и реклама: она канонизирует образ жизни посредством изображения, превращая его в настоящую интегральную микросхему. И если все, что показывают по телевизору, все без разбора — пища самая низкокалорийная, и даже вовсе бескалорийная, что же тогда жаловаться на рекламу? Своей ничтожностью она, скорее, поднимает культурный уровень того, что ее окружает.

Пошлость, внекультурность, вульгарность имеют здесь другой смысл, чем в Европе. Впрочем, может быть, очарование ирреальной Америки — это только лишь фантазии европейца? Может быть, все американцы просто-напросто вульгарны, и я только грежу об этой метавульгарности? Who knows?[61] Мне хотелось бы возобновить одно знаменитое пари: если я не прав, вы ничего не теряете, если я прав, то вы все выигрываете. Дело в том, что определенная пошлость, определенная вульгарность, которые нам кажутся неприемлемыми здесь, в Европе, в Америке более чем приемлемы — они зачаровывают. Дело в том, что все наши рассуждения об отчуждении, конформизме, единообразии и дегуманизации отпадают здесь сами собой: применительно к Америке сами они становятся вульгарными.

Почему следующий текст (Г. Фай) оказывается одновременно справедливым и совершенно ложным? "Калифорния представляет собой тотальный миф нашего времени… Множество рас, передовые технологии, нарциссизм "пси",[62] городская преступность и аудиовизуальная практика: супер-Америка, Калифорния навязывает себя как абсолютная антитеза аутентичной Европы… от Голливуда до рок-сиропа, от ЕТ[63] до Звездных войн, от зудящих псевдопротестами кампусов до бреда Карла Сагана, от неогностиков из Силиконовой долины до мистиков виндсерфинга, от новоиндийских гуру до аэробики, от джоггинга до психоанализа как формы демократии, от преступности как формы психоанализа до телевидения как практики деспотизма, Калифорния утвердилась как

[61] Кто знает? (англ.).

[62] Сленговое слово обозначающее "психотерапевт, психиатор, психоаналитик".

[63] Фильм Стивена Спилберга "Инопланетянин".

мировое пространство симулякра и неаутентичности: как абсолютный синтез cool[64] сталинизма. Истеричный край, где собрались те, кто лишились своих корней — Калифорния это место не-истории, не-события, но в то же время место, где кипит жизнь и мода сменяет моду, где происходит что-то вроде вибрации в неподвижности, вибрации, которая преследует Калифорнию, поскольку каждое мгновение ей угрожают подземные толчки.

"Калифорния ничего не изобрела: она все взяла у Европы, а затем выдала ей все это изуродованным, лишенным смысла, в позолоте Диснейленда. Мировой центр сладостного безумия, отражение наших отбросов и нашего декаданса, калифорнизм, эта радикальная версия американизма, обрушивается сегодня на молодежь и оказывается чем-то вроде ментальной формы спида… Против европейской тоски по революции Калифорния выдвигает множество уловок: пародию на знания в лишенных традиций университетских кампусах, пародию на города и урбанизм в нагромождениях Лос-Анджелеса, пародия на технику в Силиконовой долине, пародию на виноделие в неприятно теплых винах Сакраменто, пародию на религию в сектах и гуру, пародию на эротизм в beach-boys,[65] пародию на наркотики в ЛСД (?), пародию на общительность в общинах. И даже в калифорнийской природе нет ничего такого, что не было бы голливудской пародией на античный среднеземноморский пейзаж: море слишком голубое (!?), горы слишком дикие, климат слишком мягкий и слишком сухой, необитаемая, лишенная очарования природа, оставленная богами: зловещая земля под слишком ярким солнцем и неподвижное лицо нашей смерти, потому что Европа и в самом деле умрет загорелой, улыбающейся, с кожей, разомлевшей под отпускным солнцем".

Все это (если угодно) правда, поскольку сам текст воспроизводит тот же самый истерический стереотип, который он навязывает Калифорнии. В этом дискурсе, впрочем, скрывается некоторое ослепление своим объектом. Но если по поводу всего этого можно сказать нечто прямо противоположное в тех же самых словах, то это означает, что сам Г. Фай не смог осуществить подобной инверсии. Он не уловил того, как в апогее пустоты значений, ее "сладостного безумия", изнеженного и кондиционируемого ада, который он описывает, все выворачивается наизнанку. Он не уловил вызова этой "маргинальной трансцендентности", где целая вселенная оказывается подведенной к своему краю, к своей «истеричной» симуляции — а почему бы и нет? Почему бы Лос-Анджелесу не быть пародией на город? Силиконовой долине — пародией на технологии? Почему бы не быть пародии на общительность, эротику — даже пародии на море (слишком голубое!) и солнца (слишком белое!). Не говоря уже о музеях и культуре. Конечно, все это пародия! Если все эти ценности больше не выдерживают пародирования, то они уже больше ничего не значат. Да, Калифорния (и Америка вместе с ней) — это зеркало нашего упадка, но сама она вовсе не находится в этом состоянии, она — гиперреальная жизненность и обладает всей полнотой энергии симулякра. "Это мировое пространство неаутентичности" — да, разумеется: в этом и состоит ее оригинальность и ее могущество. Здесь вы ощущаете необычайный рост популярности симулякра. Но подошел ли к этому Фай? Тогда ему было бы известно, что ключ к пониманию Европы не в ее в прошлом, а в этом пародийном и неистовом предвосхищении, которое и дает Новый Свет. Фай не замечает, что каждая отдельная черта американской жизни может быть отвратительной или лишенной смысла, но совокупность черт превосходит воображение; или: каждый элемент ее описания может казаться разумным, но все описание превосходит границы нелепости.

Что в Америке нового — так это шок первого уровня (примитивного и дикого) и третьего типа (абсолютный симулякр). Никакой промежуточной стадии. Нам это трудно понять — ведь мы всегда отдавали предпочтение второму уровню, уровню рефлексии,

---

64 Крутой (англ.).

65 Пляжные мальчики (англ.)

раздвоения, несчастного сознания. Но никакое видение Америки не является оправданным вне этой инверсии: Диснейленд — это аутентичность! Кино, телевидение — это реальность! Freeways, safeways, skylines, скорость, пустыни — вот это Америка, а вовсе не музеи, церкви, не культура. Воздадим должное этой стране и обратим взгляд на смехотворность наших собственных нравов — в этом и заключается польза и удовольствие от путешествий. Для того чтобы видеть и чувствовать Америку, необходимо хотя бы на одно мгновение — в джунглях даунтауна, в Пэйнтед Дезерт или на вираже freeway, — почувствовать что Европа исчезла. Надо хотя бы на мгновение задаться вопросом: "Как можно быть европейцем?"

КОНЕЦ МОГУЩЕСТВА

50-е годы в Соединенных Штатах — самое лучшее время (When the things were going on[66]), ностальгия по которому ощущается до сих пор: экстаз могущества, могущество могущества. 70-е годы — могущество сохраняется, но прежнее очарование исчезло. Это время оргии (война, секс, Мэнсон, Вудсток). Сегодня оргия закончилась. США, как и весь мир, оказались перед лицом такого мирового порядка, в котором отсутствует напряжение. Это немощь могущества.

Но из того, что США уже не являются центром мирового могущества, вовсе не следует, что они его потеряли: просто-напросто больше не существует центра. Америка, скорее, стала орбитой воображаемого могущества, — образцом для всеобщего подражания. С точки зрения конкуренции, господства, экспансии, она, конечно, что-то потеряла, но по другим показателям выиграла: посмотрите на невероятный взлет доллара — тем более завораживающий, что он не имеет ничего общего с экономическим лидерством США, посмотрите на фантастическое вознесение Нью-Йорка и на мировой успех Далласе, Америка по-прежнему в качестве спецэффекта сохраняет политическое и культурное могущество.

Вся Америка по образу и подобию Рейгана стала калифорнийской. Бывший актер, бывший губернатор Калифорнии, он распространил в масштабах всей Америки кинематографический, эйфоричный, экстравертированный и рекламный образ, искусственный рай Запада. Он установил шантаж легкости, возрождая первоначальную американскую установку на реализацию утопии. Ибо идеальное сочетание, описанное Токвилем, как будто разрушилось: хотя американцы сохранили обостренное чувство личной заинтересованности, они, похоже, не сохранили чувства, которое могло бы объединить их начинания в целом. Отсюда современный кризис, который в действительности глубок и реален и который ведет к реабилитации той объединяющей идеи, той ценности, которая как бы спонтанно могла управлять разными типами поведения и являлась бы своего рода идеальной равнодействующей сил. Успех Рейгана — в его попытке воскресить в качестве иллюзии американскую первосцену. "America is back again".[67] Американцы, поколебленные в своей твердости войной во Вьетнаме, столь же далекой для них, как и вторжение инопланетян из комиксов, — которая так и воспринималась, издалека, как война телевизионная, — совершенно не понимающие, за что их ненавидит весь мир, и воспринимающие своих противников (поскольку Америка — воплощенная утопия Добра) только как воплощенную утопию Зла: коммунизм, — эти американцы укрылись в тени легкости, в победном иллюзионизме. И это тоже вполне по-калифорнийски, ибо на самом деле в Калифорнии не всегда ясно, очень часто туман или смог закрывают в Лос-Анджелесе солнце. И тем не менее у вас в памяти остается залитое солнцем экранирующее воспоминание. Таков мираж Рейгана.

Американцы, как и все прочие, не имеют никакого желания спрашивать себя, верят ли

---

[66] Когда дела шли (англ.).

[67] Америка возвращается (англ.).

они в заслуги своих руководителей, ни даже верят ли они в реальность власти. Это завело бы их слишком далеко. Они предпочитают делать вид, будто верят во все это, но при условии, что их верой будут руководить. Управлять сегодня — значит предъявлять убедительные знаки своей надежности. То же происходит в рекламе, где достигается похожий эффект; главное следование сценарию, все равно какому, политическому или рекламному. Сценарий Рейгана — тот и другой одновременно, и это сценарий успешный.

Все дело в вывеске. Поскольку общество окончательно уподобилось проекту, все подается как его реализация, и руководители должны работать над созданием рекламного облака (look). Малейшая оплошность непростительна, ибо ею принижается вся нация. Даже болезнь может составлять часть облика, как, например рак Рейгана. Напротив, политическая слабость или откровенный идиотизм не имеют значения. Судят только по имиджу.

Этот консенсус симуляций не так хрупок, как кажется, поскольку гораздо меньше подвергается испытанию политической истиной. Именно рекламному регулированию общественного мнения обязаны своего рода политической метастабильностью все современные правительства. Слабости, скандалы, провалы больше не кончаются катастрофой. Главное, чтобы правительство внушало доверие, и общество было восприимчиво к усилиям, которые к этому прилагаются. «Рекламный» иммунитет правительств сродни иммунитету ведущих марок стиральных порошков.

Во всех странах уже не ведут счет ошибкам руководителей — ошибкам, которые в иное время ускорили бы их крах и которые теперь весь мир с легкостью принимает, пребывая в симуляции правления и согласия, достигаемого ценой безразличия. Народ уже больше не гордится своими вождями, а те больше не гордятся своими решениями. Достаточно малейшей иллюзорной компенсации, чтобы восстановить рекламное доверие. Такова была операция в Гренаде после трех сотен убитых в Ливане. Сценарий, лишенный всякого риска, просчитанная постановка, искусственное событие, гарантированный успех. Впрочем, оба этих события, Ливан и Гренада, свидетельствуют об одной и той же политической иррациональности: первое, террористическое, ускользало от всякого контроля; другое, полностью сфабрикованное, вполне контролировалось. Ни то, ни другое не имели никакого смысла с точки зрения политической мудрости. Они соответствуют друг другу в той пустоте, которая сегодня определяет политическую сцену.

Та же самореклама, то же стремление завоевать доверие, тот же культ вывески в новом рейгановском поколении. Динамичное, эйфоричное — или, скорее, динамизирутощее, эйфоризирующее. Счастье для него — идея не новая, и успех — тоже не главная: все это у него уже есть. Это уже не борцы за счастье и успех, а просто сочувствующие. Поколение 60-70-х годов, но освободившееся от всякой ностальгии, от нечистой совести и даже подсознания этих безумных лет. Поколение, очищенное словно при помощи пластической операции от последних следов маргинальности: новое лицо, новые ногти, отполированные нейроны, во всеоружии программного обеспечения. Поколение, не впадающее в амбиции, не обуреваемое энергией вытесненных желаний, но утратившее тягу к маргинальности, которое любит бизнес не столько из-за выгоды и престижа, а скорее как своего рода техническое достижение и техническое шоу. Оно вращается вокруг масс-медиа, рекламы и информации. Это уже не монстры бизнеса, а служители шоу-бизнеса, ибо сам бизнес стал шоу-бизнесом. Clean, and perfect.[68] Яппи. Само слово славит эту радостную перемену. В отношении предшествующего поколения не было никакой мучительной ревизии — просто ампутация, амнезия, отпущение грехов — немного ирреальное забвение, сменяющее слишком яркое событие. Яппи — это не перебежчики из лагеря бунтовщиков, это новая, уверенная в себе раса — амнистированная, оправданная, с легкостью преобразующаяся в перформативную, безразличная по своему мировоззрению к любой другой цели, кроме изменения и промоушена (промоушена всего: товаров, людей, исследований, карьер, образа жизни).

[68] Чисто и совершенно (англ.).

Можно предположить, что оргия 60-70-х годов уступает место мобильной и утратившей иллюзии элите, однако, нет: по крайней мере в саморекламе она старается быть мобильной и восторженной. Но ее воодушевление изнеженное: в делах, политике или информатике она движется вперед, не надрываясь, она предстает изнеженно-работоспособной. Ее лозунг может быть таким:

YOU CANT HAVE YOUR MONEY AND SPEND IT TOO!
YOU CANT HAVE YOUR CAKE AND EAT IT TOO!
YOU CANT HAVE YOUR WIFE AND FUCK IT TOO!
YOU CANT LIVE AND HAVE YOUR LIVING TOO![69]

Но эта легкость безжалостна. Ее логика безжалостна. Если утопия воплотилась — несчастье не существует, существование бедняков кажется неправдоподобным. И если Америка воскресла — значит, уничтожения индейцев не было, не было Вьетнама. В своих частых посещениях богатых ранчеров или промышленников Запада Рейган даже не подозревал о существовании бедняков и уж тем более не соприкасался с ними. Он знал только очевидность богатства, тавтологию могущества, которое вознес до масштабов всей нации и даже всего мира. Обездоленные будут обречены на забвение, покинутость и просто-напросто на исчезновение. Эта логика образца must exit. Poor people must exit.[70] Ультиматум богатства, продуктивности вычеркивает бедняков. И делает это с полным правом, ведь они имеют бестактность уклоняться от общего согласия.

Нищета, которой все стараются помочь, которая находится в сфере общественной заботы — все это рушится под ударом провиденциального (президентского) декрета. Как если бы Страшный Суд уже свершился. Хороших признали хорошими, остальных изгнали. Покончено с доброй волей, покончено с нечистой совестью. Недоброй памяти третий мир уничтожен. Он служил только нечистой совести богатых, и все усилия его спасти были обречены на неудачу. Конец. Да здравствует четвертый мир, тот, о котором говорят:

"Утопия воплотилась, пусть те, кому в ней нет места, исчезнут", мир, который больше уже не имеет права подняться на поверхность, disenfranchised,[71] лишенный слова, преданный забвению, изгнанный, и который должен погибнуть в неизбежности второго уровня.

Disenfranchising

Одно за другим теряют они сначала свои социальные права, работу, потом машину. Потом drive's license,[72] потом удостоверение личности. Целые группы населения погружаются в забвение, в тотальное отчуждение. Освобождение было историческим событием: это было освобождение крепостных и рабов, деколонизация третьего мира, а в нашем обществе это было завоевание разнообразных прав: права на труд, права голоса, права на секс, права женщин, заключенных, гомосексуалистов — всех тех прав, которые приняты сегодня везде. Права теперь есть повсюду. В принципе, мир освобожден, ему больше уже не за что сражаться. Но в то же время целые группы (как и отдельные индивиды) опустошаются изнутри. Общество забыло о них, и они сами забыли о себе. Они оказались за кадром, они зомби, обреченные на то, чтобы всегда оставаться в тени, и на статистическую кривую

---

69 Ты не можешь потратить деньги и иметь их! Ты не можешь съесть пирог и иметь его! Ты не можешь съесть жену и иметь ее! Ты не можешь прожить жизнь и иметь ее!

70 Бедные должны уйти (англ.).

71 Потеря гражданских прав (англ.).

72 Водительские права (англ.).

исчезновения. Это четвертый мир. Целые секторы наших современных обществ, целые страны третьего мира проваливаются в эту пустынную зону четвертого мира. Но если третий мир еще имел политический смысл (даже если это было его сокрушительное поражение), четвертый мир его не имеет. Он внеполитичен. Он результат политического равнодушия наших обществ, социального равнодушия наших развитых обществ, отлучения (экс-коммуникации), которому подвергаются как раз общества, основывающиеся на коммуникации. Это происходит в масштабе всего мира. И сравнить это можно только с тем, как тысячи тонн кофе сжигались в топках локомотивов для поддержания мировых цен. Или с той частью первобытного племени, которую вследствие перенаселенности пророк уводил на гибель, как стаю леммингов, которая должна исчезнуть за горизонтом океана. Сама политика Штатов становится негативной. Она не нацелена больше на социализацию, интеграцию, создание новых прав. За видимостью социализации и сопричастности она десоциализирует, не освобождает, а изгоняет. Социальный порядок ограничивается обменами, технологиями, передовыми группами и, функционируя таким образом, парализует целые зоны, которые становятся резервациями, или даже не резервациями, а помойками, пустырями, новыми пустынями для новых нищих, подобно тому как превращаются в пустыню территории вокруг атомных станций или автотрасс. Для их спасения ничего не будут сделано, но, возможно, здесь ничего и нельзя сделать, поскольку освобождение, эмансипация, рост уже завершились. Поэтому здесь нет элементов будущей революции, это неизгладимые результаты оргии могущества и необратимой концентрации мира, как следствия этого развития. Возникает один единственный вопрос: каков будет результат этого прогрессирующего закрепощения (которое уже при Рейгане и Тэтчер имеет такие жесткие формы)?

Зададимся же вопросом о популярности Рейгана. Стоит, однако, определить, какое именно доверие ему оказано. Уж слишком все это хорошо, чтобы быть правдой: как случилось, что все барьеры рухнули перед ним? Как случилось, что никакой ложный шаг, никакая неудача не могут подорвать доверия к нему, которое парадоксальным образом только увеличивается (что приводит в такую ярость наших французских руководителей, у которых все получается наоборот: чем больше они демонстрируют инициативу и добрую волю, тем больше падает их рейтинг)? Дело как раз в том, что доверие, оказываемое Рейгану, — доверие парадоксальное. Как различают реальный сон и сон парадоксальный, так следовало бы различать реальное и парадоксальное доверие. Первое оказывается человеку или вождю благодаря его достоинствам и успеху. А парадоксальное доверие — это доверие, оказываемое кому-нибудь благодаря его поражению или отсутствию достоинств. Прообразом этого является эффект несбывшегося пророчества, хорошо известный в истории мессианства и милленаризма, вследствие которого группа не отрекается от своего предводителя и не распадается, а напротив, сплачивается вокруг него и создает религиозные институты наподобие секты или церкви, чтобы упрочить веру. Институты эти тем более прочные, что извлекают свою энергию из несбывшегося пророчества. Это «надстроенное» доверие никак не страдает от несостоятельности, поскольку происходит из отрицания поражения. Та же сама удивительная аура окутывает доверие, оказываемое Рейгану, и заставляет думать, что американское пророчество о великом будущем воплощенной утопии, сочетающейся с мировым могуществом, было обречено на неудачу, и ничто из этого воображаемого геройства, призванного увенчать историю двух столетий, в действительности не реализовалось, а Рейган — следствие несостоятельности этого пророчества. При Рейгане эта некогда эффективная система ценностей идеализируется и становится воображаемой. Образ Америки становится воображаемым для самих американцев, несмотря на то что он, без сомнения, изрядно скомпрометирован. Это превращение спонтанного доверия в доверие парадоксальное, а реализованной утопии в воображаемую гиперболу мне кажется решающим. Но, возможно, все и не так просто. Ибо речь не идет о том, что образ Америки в глазах самих американцев сильно искажен. Речь не идет о том, что вираж эры Рейгана

больше, чем перипетия истории. Who knows?[73] Это так же сложно решить, как различить сегодня процесс и симуляцию процесса, полет и симуляцию полета. Америка также вступила в эту эру неразличимости: реально ли ее могущество или это симуляция могущества?

Может ли Рейган рассматриваться как символ современного американского общества — общества, обладавшего подлинными чертами могущества, а теперь вступившего в стадию «лифтинга»? Возможна другая гипотеза: Америка уже не та, что прежде, но продолжает развиваться теми же темпами, она в гистерезисе могущества. Гистерезис — это процесс, который продолжается по инерции, эффект, который длится, когда то, что породило его, уже исчезло. Можно также говорить о гистерезисе истории, гистерезисе социализма и т. д. Например: это тело продолжает функционировать, двигаться за счет набранной скорости по инерции, или как человек, который, потеряв сознание, еще сохраняет равновесие. Или смешнее: как велосипедисты из романа Жарри Сверхсамец, умершие от истощения во время бесконечного переезда через Сибирь, которые вместе с тем продолжают крутить педали и приводить в движение Великую Машину, преобразующую трупное окоченение в кинетическую энергию. Прекрасная выдумка: мертвецы могут даже увеличивать скорость и приводить машину в движение лучше, чем живые, поскольку у них нет больше никаких проблем. Не похожа ли Америка на этот гротеск Альфреда Жарри? Но, опять-таки, если и был очевиден сбой в работе или в чарах американской машины, кто сможет сказать, является ли он следствием депрессии или переохлаждения механизмов?

Америка, конечно, меньше, чем Европа, страдает от того, что освободилась от великих идей и исторических страстей, поскольку не они определяют ее развитие. Она гораздо больше страдает из-за исчезновения оппозиционных идеологий и ослабления всего, что ей противостояло. И если она была более могущественна в течение двух десятилетий после второй мировой войны, то идеи и страсти, противостоящие ей, тоже были сильнее. Американская система могла быть жестоко атакована (даже изнутри — в 60-70-е годы). Сегодня Америка уже утратила прежнюю гегемонию и уже не играет роль монополиста, но в каком-то смысле ее лидерство бесспорно и неоспоримо. Она была воплощением могущества, а стала моделью (предприятием, рынком, свободной инициативой, перформансом), которая является универсальной даже для Китая. Интернациональный стиль стал американским стилем. Америке действительно уже ничто не противостоит, агрессивные окраины рассосались (Китай, Куба, Вьетнам), великая антикапиталистическая идеология лишилась своей субстанции. По большому счету, на Соединенные Штаты, да и на весь мир, воздействует тот же эффект согласия, который сегодня ассоциируется с Рейганом в Соединенных Штатах. Эффект доверия, рекламности и утраты обороноспособности потенциальным противником. То же самое произошло и с Рейганом: постепенно все, что противостояло ему, исчезло, рядом с ним нет ничего, что позволило бы приписать ему собственно политический гений. Согласие за счет исчезновения оппозиции. Политический декаданс и власть рекламы. То же самое касается Соединенных Штатов в мировом масштабе. Американское могущество, кажется, не инспирируется никаким собственным гением (оно существует по инерции, от случая к случаю, в пустоте, скованное своей же собственной силой), напротив, Америка ограничивается сиюминутными образами, рекламными кампаниями. Существует как бы мифическое и рекламное могущество Америки, распространяющееся на весь мир, которое можно сравнить с поляризацией рекламы вокруг Рейгана. Таким образом, посредством своего рода добавленной стоимости, показательного, автореференциального и лишенного подлинного основания правдоподобия все общество стабилизируется путем вливания рекламы. Устойчивость доллара на мировых рынках — символ и наилучший тому пример.

Однако эта метастабильность непрочна как во внешней политике, так и во внутренней. Ибо, в конечном счете, своим существованием она обязана лишь угасанию всякой

---

[73] Кто знает? (англ.).

подлинной альтернативы, исчезновению сопротивлений и антител. В этом подлинный кризис американского могущества, кризис потенциальной стабилизации, осуществляемой по инерции, вознесение могущества в пустоте. Во многих отношениях этот кризис напоминает утрату иммунитета в чрезмерно опекаемом организме. Поэтому раковая болезнь Рейгана кажется мне поэтической иронией. Рак в каком-то смысле подобен этому призрачному доверию, этой эйфории тела, которое больше не производит антитела, и которому избыток активности угрожает разрушением. Глава самой могущественной мировой державы поражен раком! Власть, охваченная метастазами! Два полюса нашей цивилизации соединились! Потеря президентского иммунитета, почти спид! Это должно ознаменовать начало общей имплозии (власть на Востоке уже долгое время поражена некрозом).

Но не стоит слишком спешить, и лучше в данном случае говорить о менопаузе. Ремиссия общественного мнения, общее движение к центру после конвульсий 70-х, отмена всяких новых горизонтов, консервативное и рекламное руководство вещами, элементарная, лишенная понимания будущего перформативность, экономия и тренинг, бизнес и джоггинг, конец кайфа и оргии, реставрация натуралистической утопии замысла и биосоциологической консервации расы — не означает ли это все конец могущества и вхождение в истерическую эйфорию менопаузы? Или, иначе говоря, не является ли рейгановская фаза только временным выздоровлением, восстановлением, которое, хоть и наступает вслед за депрессией, но предвещает новое обострение? Отныне всякий "новый горизонт", всякое новое "мышление Кеннеди" кажется сегодня немыслимым. В этом и заключаются глубокие изменения, произошедшие в американском духе времени: эффект Рейгана утомил всю нацию.

К тому же эффект менопаузы не является характерной чертой Америки, он ощущается во всех западных демократиях и свирепствует повсюду как в культуре, так и в политике, как в индивидуальных аффектах, так и в идеологических страстях. Остается ждать, что наше вступление в третье тысячелетие будет сопровождаться встречами третьего типа (увы, у нас уже была своя запоздалая страсть — фашизм). Что касается американской реальности, то даже с «подтяжками» она сохраняет масштаб, сверхразмеры, и в тоже время — первозданную дикость. Все общества в конце концов надевают маску, так почему это не может быть маска Рейгана? Но остается неизменным то, что было в самом начале: пространство и гениальность вымысла.

DESERT FOREVER[74]

Закаты в виде гигантских радуг, неугасающих в течение целого часа. Времена года здесь утратили смысл: утро — это весна, полдень — лето, а ночи пустыни — зимние холода, которых здесь никогда не бывает. Что-то вроде упраздненной вечности, когда год обновляется ежедневно, И так будет каждый день, каждый вечер будет эта радуга, в которой свет, царствовавший в течение дня сплошным потоком, вечером, прежде чем угаснуть, опять распадается на все свои составляющие. Теперь это уже цвета мгновенной радуги, вспыхивающей на ветру, на гребне волн Тихого океана.

Неизменно благоприятный климат, дарованная природой милость дополняет сказочное богатство, которым обладают люди.

В этой стране нет надежды. Даже мусор здесь экологически чист, а движение бесшумно и умиротворенно. Латентное, лактальное, летальное — такова здесь текучесть жизни, знаков и посланий, подвижность тел и машин, таков золотистый цвет волос и пышный расцвет экологически чистых технологий — все это заставляет европейца грезить здесь о смерти и об убийстве, о мотелях для самоубийства, об orgy и cannibalism,[75] чтобы

---

[74] Пустыня навсегда (англ.).

[75] Оргии и каннибализме (англ.).

объявить шах этому совершенству океана, света, этой невероятной беззаботности жизни, гиперреальности всех находящихся здесь вещей.

Вот откуда берется фантазм, что земная кора дает трещину, после чего земля погружается в воды Тихого океана, и это конец Калифорнии, ее преступной и скандальной красоте. Ибо невыносимо оказаться живым по ту сторону тяжести бытия, в неповторимой изменчивости неба, прибрежных скал, серфинга, пустынь, в единственно возможной гипотезе счастья.

Но сам сейсмический вызов — это тоже только флирт со смертью, и он является частью природных красот, подобно истории или теории революции, гиперреалистический отзвук которых замолкнет здесь вместе со скромным обаянием предшествующей жизни. Все, что остается здесь от настойчивых исторических требований, — это граффити на пляже, обращенное в открытое море и взывающее не к революционным массам, а к небу, водному простору и прозрачным божествам Тихого океана:

PLEASE, REVOLUTION!

Не случайно ли самая крупная военно-морская база, база 7-го Тихоокеанского флота, который воплощает мировое американское господство и является самой мощной военной силой в мире, оказывается частью этой дерзкой красоты? Именно здесь, где веет прекрасная магия Санта-Аны, из-за гор прилетает ветер пустыни и, чтобы остаться на четыре или пять дней разогнать туман, заставляет гореть землю, искриться море и слепить людей, привыкших к туману; самое прекрасное в Санта-Ане — это ночь на пляже, где купаются как среди бела дня и, подобно вампирам, загорают при лунном свете.

Эта страна без надежды.

Для нас, фанатов эстетики и смысла, культуры, вкуса и соблазна, для нас, считающих прекрасным лишь то, что глубоко нравственно, а увлекательным лишь героическое противопоставление природы и культуры, для нас, неразрывно связанных с авторитетом критического разума и трансцендентности, открыть очарование нонсенса — значит перенести ментальный шок и обрести невиданное освобождение, головокружительный разрыв связей как в пустыне, так и в городах. Узнать, что можно получать наслаждение от устранения всякой культуры и воодушевляться торжеством безразличия.

Я говорю об американских пустынях и городах, которые не являются таковыми… Не об оазисах, не о памятниках, а о бесконечном путешествии по неорганическому миру и автотрассам. Повсюду: Лос-Анджелес или Твенти Найн Палмз, Лас Вегас или Боррего Спрингз…

Я говорю не о желании: о пустыне. Желание — это еще одна тяжкая зависимость, в Европе мы живем его остатками, остатками агонизирующей критической культуры. Здесь же города — движущиеся пустыни. Ни монументов, ни истории: одна только экзальтация движущихся пустынь и симуляции. В бескрайних городах та же дикость, что и в полной тишине Бесплодных земель. Почему Лос-Анджелес и пустыни так очаровывают? Наверное, потому, что всякая глубина здесь упразднена и осталась одна сияющая, подвижная и поверхностная нейтральность, вызов смыслу и глубине, вызов природе и культуре, запредельное гиперпространство, у которого нет ни истока, ни референций.

Во всем этом нет ни чар, ни соблазна. Соблазн в других странах, в Италии, в отдельных пейзажах, ставших картинами, столь же окультуренных и рафинированных в своих очертаниях, как города и музеи, в которых они хранятся. Обозначенное, очерченное пространство, в высшей степени привлекательное, в котором смысл посреди этой роскоши превращается в конце концов в простое украшение. Здесь же все совершенно наоборот: не соблазн, но абсолютное очарование, очарование исчезновения всех критических и эстетических форм жизни, в излучении ни с чем не соотнесенной нейтральности, имманентной и солнечной. Нейтральность пустыни: неподвижность без желания.

Нейтральность Лос-Анджелеса: бессмысленное движение без желания. Конец эстетики.

Улетучилась не только декоративная эстетика (природная или архитектурная), но и эстетика тел и языка, всего того, что составляет ментальный и социальный габитус европейца, в особенности романоязычного, эта постоянная комедия дель арте, пафос и риторика социальных связей, драматизация речи, ловушки языка, аура макияжа и искусственность жестов. Весь эстетический и риторический шарм совращения, вкуса, очарования, театра, но вместе с тем и противоречия, насилия, всегда связанного с дискурсом, игрой, дистанцией, искусственностью. Наш универсум никогда не пустынен, он театрален. Всегда двусмысленный. Всегда культурный, и немного смешной в своей наследственной культурности.

Поражает отсутствие всего перечисленного, и особенно отсутствие архитектуры городов, которые суть долгий сигналитический тревелинг, поразительное отсутствие аффектов и выразительности в лицах и телах. Прекрасные, плавные, гибкие или cool, или удивительно разжиревшие, что, возможно, связано не с непреодолимой булимией, а общей несогласованностью, которая ведет к распущенности тела или языка, питания или города в целом: набор разобщенных, плохо согласованных друг с другом функций, гипертрофированная и разрастающаяся во всех направлениях клеточная ткань.

Таким образом, единственная ткань города — это ткань freeways, транспортная ткань, или, скорее, непрерывная трансурбанистичность, невиданное зрелище тысяч машин, движущихся с одинаковой скоростью в двух направлениях, с зажженными фарами среди бела дня по Вентура Фривэй, ниоткуда не возвращаясь, никуда не направляясь: бесконечное коллективное действо, движение, следование без остановки, без агрессивности, без цели — трансфертная общность, возможно, единственная в технологической гиперреальной эре, softmobile,[76] расходующееся в поверхностях, в сетке дорог, экологически чистых технологиях.

В Лос-Анджелесе нет ни лифтов, ни метро. Ни вертикальности, ни андеграунда, ни скученности, ни коллективности, ни улиц, ни фасадов, ни центра, ни памятников: одно фантастическое пространство, призрачная и прерывная последовательность разрозненных функций, знаков, лишенных иерархии, феерия безразличия, феерия равнодушных поверхностей, могущество чистой протяженности, могущество, которое мы вновь обретаем в пустыне. Власть формы пустыни: это стирание следов в пустыне, стирание означаемого в городах, стирание всякой психологии в телах. Животное и метафизическое очарование, непосредственное — протяженности, имманентное — сухости и стерильности.

Мифическое могущество Калифорнии — это сочетание крайней отъединенности и головокружительных перемещений, заполняющих ландшафт, гиперреальный сценарий пустынь, freeways, океана и солнца. Нигде в другом месте не существует такого ослепительного сочетания радикальной внекультуры и природной красоты, природного чуда и абсолютного симулякра: just in this mixture of extreme irreferentiality and deconnection overall, but embedded in most primeval and greatfeatured natural scenery of deserts and ocean and sun — nowhere else is this antagonistic climax to be found.[77]

В других краях природные красоты отягощены смыслом, ностальгией и самой культурой, невыносимой в ее значительности. В традиционных культурах (Мексика, Япония, страны ислама) как в зеркале отражается наша деградировавшая культура и наша глубокая вина. На фоне преумножения смысла традиционной культуры (ритуальной, территориальной) мы выглядим гринго, зомби, туристами, обреченными на постоянное

---

[76] Мягкое движение (англ.).

[77] Нигде больше антагонизм не доходит до такой высшей точки, кроме как в этом соединении предельной нереференциальности и полной разъединенности, запечатленном в первобытном и величественном природном пейзаже пустыни, океана и солнца (англ.).

местожительство среди природных красот страны.

Ничего этого нет в Калифорнии, где строгость тотальна, ибо сама культура здесь — пустыня, и культура тоже должна быть пустыней для того, чтобы все вещи уравнялись между собой и светились одинаковым сверхъестественным светом.

Именно поэтому сам полет от Лондона до Лос-Анджелеса, пролегая через полюс, в его стратосферной абстрактности и гиперреальности, уже составляет часть Калифорнии и пустыни. Детерриторизация начинается с разделения дня и ночи. Когда она уже не вопрос времени, а вопрос пространства, высоты над уровнем моря и скорости, граница между днем и ночью становится отчетливо видна, будто бы проведена по вертикали, когда пронзаешь ночь словно облако, так быстро, что она воспринимается как локальный объект, находящийся на земной орбите, или, наоборот, когда она внезапно рассеивается, в то время пока солнце остается в той же точке неба на всем протяжении двенадцатичасового перелета, тогда это уже конец нашего пространства-времени, — это та самая феерия, которая будет феерией Запада.

Восхищение жарой здесь метафизично. Сами цвета — пастельный, голубой, сиреневый, лиловый — следствие медленного, геологического, непрекращающегося сгорания. Подземные минералы превращаются на поверхности в кристаллическую растительность. Все природные элементы прошли здесь испытание огнем. Пустыня уже больше не пейзаж, это чистая форма, которая происходит из абстрагирования всех остальных.

Ее определение абсолютно, ее граница сакральна; живые линии и жесткие очертания. Это место знаков крайней, неотвратимой необходимости, знаков, лишенных смысла, произвольных и нечеловеческих, сквозь которые мы идем, не расшифровывая их Безжалостная прозрачность Города в пустыне заканчиваются тоже внезапно, они не имеют окрестностей И они похожи на мираж, который может исчезнуть в любой момент Достаточно увидеть, как Лас Вегас, восхитительный Лас Вегас на закате внезапно вырастает среди пустыни, в своих фосфоресцирующих огнях, и как на рассвете он, истощив за целую ночь свою интенсивную поверхностную энергию, еще более интенсивную при бликах рассвета, возвращается в пустыню, чтобы постичь тайну пустыни и того, что здесь подает знак чарующую прерывность и всеохватное неровное сияние

Тайное родство пустыни и игры накал игры усиливается вдвойне присутствием пустыни внутри города Свежесть кондиционированного воздуха в залах рядом с палящей жарой на улицах Вызов, который все виды искусственного света бросают мощи солнечного света Ночь игры, залитая светом со всех сторон — искрящаяся темнота залов посреди пустыни Сама игра — пустынное, нечеловеческое, внекультурное, таинственное действо, вызов естественной экономии ценностей, безумие в рамках обмена Но также и она имеет свой предел и резко обрывается, ее границы определены, ее страсть не знает смятения Ни пустыня, ни игра не являются свободными пространствами это пространства ограниченные, концентрические, с силой закручивающиеся внутрь, к центральной точке душа игры или сердце пустыни — предпочтительное незабываемое пространство, где вещи лишаются своей тени, где деньги теряют свою ценность, где чрезвычайно редки следы, как и то, что побуждает людей отправиться на поиски быстрого богатства